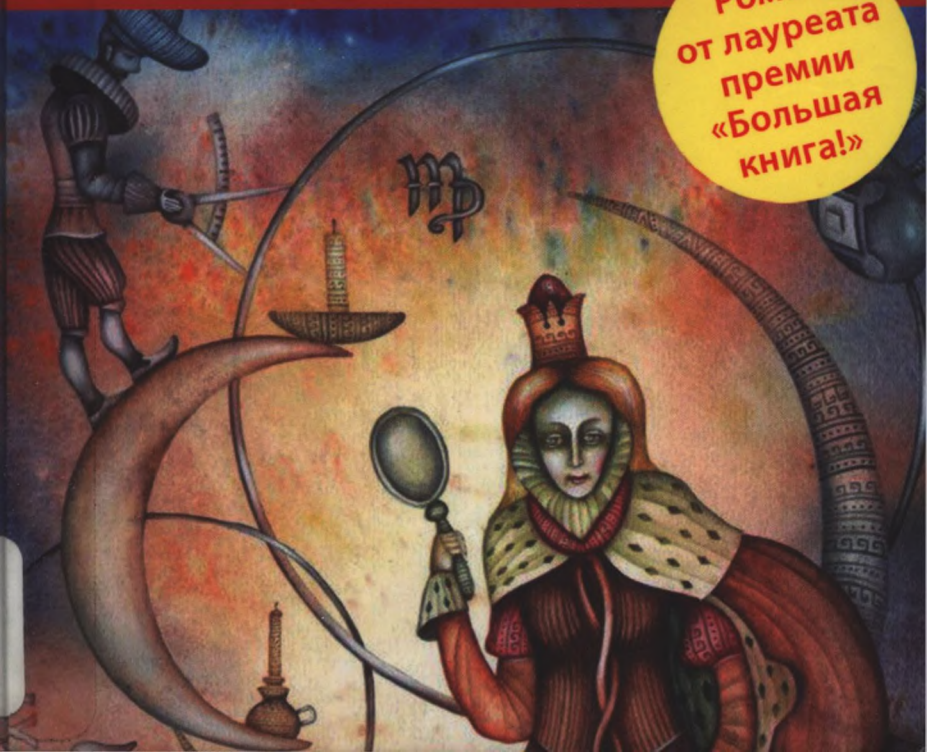


ЮРИЙ БУЙДА

Яд и мед

Роман
от лауреата
премии
«Большая
книга!»



ЮРИЙ БУЙДА

Яд и мед



ЭКМО
МОСКВА
2014

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Б 90

Оформление серии *Алексея Марычева*

Автор фото *Никита Буйда*

В оформлении обложки
используется картина Eugene Ivanov

Буйда Ю. В.

Б 90 Яд и мед : повесть и рассказы / Юрий Буйда. — М. : Эксмо, 2014. — 288 с. — (Большая литература. Проза Юрия Буйды).

ISBN 978-5-699-69562-1

Тати – хозяйка Дома Двенадцати всадников на Жуковой Горе. Она не только принадлежит к древнему роду Осорьиных, но и является воплощением Бога и Дьявола в одном лице. Ее дом – ее крепость, ради своей семьи она готова пойти на все, даже на преступление...

Повесть «Яд и мед» сопровождается циклом рассказов «Осорьинские хроники», в которых история рода Осорьиных обрастает удивительными и невероятными подробностями!

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Буйда Ю., 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

ISBN 978-5-699-69562-1

Яд и мед. Повесть

И ничего уже не будет проклятого.

Откровение, 22:3

Этот дом был построен в начале 90-х годов XIX века, еще при жизни Александра III Миротворца. Купец-миллионер, ситцевый фабрикант, купил земли неподалеку от Москвы, здесь, на Жуковой Горе, и возвел этот роскошный особняк для своей любовницы — актрисы императорских театров. Дом на высоком холме, с которого открывался замечательный вид на речную пойму. Хорошо прокаленный красный кирпич, звонкая сосна, стройные беленые колонны у входа, пышногрудые и широкобедрые музы на фризе, напоминающие разгульных вакханок, французские окна с зеркальными стеклами, кокетливые башенки с зубцами, крыша из черной аспидной черепицы, которая сверкала на солнце, как россыпь драгоценных камней...

Но жизнь в этом доме не заладилась с самого начала. Легкомысленная актриса вскоре влюбилась в рокового поэта, фабрикант застрелил ее и был сослан на Сахалин, в каторгу, его наследники стали сдавать особняк в арен-

ду, а вокруг построили несколько десятков двухэтажных домиков под сдачу внаем. Так началась история дачного поселка Жукова Гора.

Этот дом повидал много разных людей — блестящих гвардейских офицеров и их блестящих любовников, известных живописцев и именитых писателей, бритоголовых советских маршалов и мускулистых гражданеток в кумачовых платочках, много их было — молодых и усталых, полных надежды и убитых горем, с бокалом шампанского в руке и в наручниках...

Этот дом хранил память обо всех этих людях — шепоты и крики, запахи плоти, вина и крови, горячего воска и горелого пороха, ненависти и страха, хранил старинные тени в зеленоватой глубине высоких зеркал...

Иконы сменялись портретами — сначала Чернышевского, Льва Толстого и Леонида Андреева, затем — Ленина, Кропоткина и Троцкого, а потом — Сталина, которые с каждым годом становились больше, больше и больше. Под этим портретом хозяева праздновали новоселья и на этот портрет бросали последний взгляд, когда их уводили из дома навсегда...

В середине тридцатых здесь поселился генерал Осорьин с семьей.

Дмитрий Николаевич Осорьин принадлежал к старинному княжескому роду. Впервые князья Осорьины упомянуты в русских летописях в 1255 году, когда один из них остановил вторжение литовцев, разгромил их и прошелся по литовским городам и деревням, не

оставляя после себя в живых даже собаки, которая могла бы лаять ему вслед. Род Осорьиных обеднел при Иване Грозном и поднялся при Петре Великом. А в 1805 году в битве под Аустерлицем подполковник Осорьин со своим батальоном несколько часов сдерживал натиск кавалерии Мюрата, прикрывая отступление русской армии. Шестьсот пехотинцев, выстроившись в каре, отбили двенадцать атак французской конницы. Невзирая на ранение в плечо, князь Осорьин так и не переложил шпагу в левую руку, а его голос перекрывал шум сражения: «Держать строй! Держать строй!» Семеро солдат, знаменосец и командир — вот и все, что осталось от батальона, не сдавшего позиций. Когда Наполеон назвал истекавшего кровью Осорьина «храбрецом» и «безумцем», тот возразил: «Я только держал строй, ваше величество. Держал строй». По возвращении домой князю Осорьину именным указом было разрешено начертать на фамильном гербе девиз, который остался в истории: «Держать строй!»

Дмитрий Осорьин был одним из двухсот генералов царской армии, которые после октября 17-го перешли на сторону большевиков. Он преподавал в Академии Генерального штаба РККА. От первого брака у него было двое сыновей, от второго — две дочери. Он умер от болезни сердца вскоре после второй германской войны, пережив сыновей-офицеров, которые в годы Большого террора были расстреляны как враги народа, шпионы и заговорщики.

Весной 53-го из гостиной убрали портрет Сталина, и больше никогда в доме на холме и в других домах никаких портретов на стены не вешали, потому что любой портрет на стене в гостиной напоминал о том самом портрете.

Наступили спокойные времена.

Великие маршалы перестали брить голову и засели за мемуары, а летними вечерами пили чай на веранде, любуясь закатом. Великие писатели собирали вокруг самовара гостей, чтобы почитать главы из новых романов. Великие актеры разучивали роли в новых пьесах, в которых истина была сильнее правды. Великие старухи гуляли с собачками, перебирали драгоценности в шкатулках и засыпали в уютных креслах с котенком на коленях.

В осорьинском доме дважды в день, в одно и то же время, раздавался веселый крик: «Соль на столе!» — и все его обитатели стекались в столовую. И если раньше Осорьинных называли «бывшими», то теперь все чаще — «всегдашними».

На Жукову Гору вернулась великая русская скука.

Люди перестали бояться ночи. Подрастали дети и внуки. Под огромным *болхонским* дубом, который рос неподалеку от осорьинского дома, назначали встречи влюбленные. Старики обсуждали свои болезни или новых соседей, хотя новые соседи появлялись здесь очень редко: поселок Жукова Гора стал заповедником для избранных, для элиты, и попасть сюда было непросто.

Наступление новых времен мало что тут изменило, разве что цены на здешнюю недвижимость взлетели до небес. Новые богачи, которым все же удалось купить несколько домов на Жуковой Горе, беспрекословно принимали заведенные здесь порядки и не нарушали спокойного течения жизни. Правда, они еще не научились любоваться закатами, обсуждать свои болезни и не тревожиться о будущем, но это — это дело наживное.

И еще они не научились скрывать зависти, когда речь заходила о доме Осорьиных, о доме на холме — хорошо прокаленный красный кирпич, звонкая сосна, стройные беленые колонны у входа, пышногрудые вакханки на фризе, французские окна с зеркальными стеклами, кокетливые башенки с зубцами, крыша из черной аспидной черепицы, которая сверкала на солнце, как россыпь драгоценных камней, — не дом, а мечта, и эту мечту, конечно, можно купить за деньги, но завладеть ею по-настоящему — нет, нельзя, как нельзя завладеть чужой тенью: дух дышит *только там*, где хочет...

Лето я проводил у дедушки с бабушкой, в Нижних Домах. Эти одинаковые коттеджи были построены при Сталине, когда Жукова Гора стала режимным объектом. Поселок обнесли надежной оградой, устроили правильное водоснабжение и канализацию, у ворот поставили охрану, а в низине, отделенной от реки Болтовни невысокой дамбой, построили дома, в которых поселились

садовники, столяры, слесари, сторожа и прочий обслуживающий персонал.

Мой дед Семен Семенович Постников был фельдшером, но на Жуковой Горе все называли его доктором. Днем доктор Постников принимал больных в амбулатории, а вечером складывал в пухлый кожаный баул инструменты, пузырьки, ампулы и отправлялся «с визитами» — ставить уколы пациентам, а чаще — пациенткам. Иногда он брал с собой меня. Так, благодаря деду, я впервые попал в дом на холме, который все в поселке называли Домом двенадцати ангелов — из-за двенадцати ржавых флюгеров, которые напоминали крылатых ангелов и вращались на ветру, издавая негромкое, но грозное гудение.

Мне было пять или шесть лет, когда я переступил порог этого дома — он поразил меня с первого взгляда. Холл с черным мраморным полом и белыми колоннами, между которыми стояли статуи нагих женщин; просторная гостиная, выходившая окнами на речную пойму и украшенная огромным роялем; люстры, каскадами ниспадавшие с потолков; широкие вазы с цветами, источавшими головокружительные запахи, которые смешивались с запахами хвойной мастики; напольные часы с золочеными маятниками; мужчины в париках и женщины в юбках-колоколах — они взирали на меня с портретов, развешанных по стенам...

Я подошел к картине, на которой была изображена обнаженная женщина, лежавшая спиной к зрителю.

У нее были широкие бедра, узкая талия и густые огненно-рыжие волосы. В зеркале, которое она держала перед собой, отражалось ее лицо с острым носом и пронзительно-голубыми глазами.

— Самая красивая в мире задница, — сказал со вздохом дед, положив руку на мое плечо. — Венера.

Спустя несколько дней эта Венера пригласила нас на чай. Я уже знал, что ее зовут Татьяной Дмитриевной, но все называют ее Тати, с ударением на последнем слоге.

Мы ждали ее в столовой.

За минуту до того, как часы пробили пять, в столовую вбежала миловидная женщина в белом кружевном фартучке, которая заняла место за креслом с высокой спинкой. Эту женщину дед называл Дашей. Она открывала дверь, когда мы приходили с визитом, и угощала меня печеньем, пока доктор Постников ставил уколы хозяйке. Даша была живой, говорливой и улыбчивой, но на этот раз ее лицо, фигура, поза выражали только достоинство и почтительность.

С боем часов в комнату вошли вразвалку два черных датских дога — два огромных исчадия ада, отливавшие синевой. Они неспешно подошли к Даше и легли на полу по обеим сторонам кресла. Эти мрачные великаны носили имена Ганнибал и Катон. За ними вбежали болонки — Миньон и Мизер, чистые, кудрявые и веселые, которые прыгнули на узкую козетку, стоящую у стены, и сели, нетерпеливо переступая с лапы на лапу.

Наконец послышалось шуршание, позвякивание, дверной проем озарился оранжевым светом, и в столовую вплыла Тати. Умопомрачительная шляпа с широкими полями и островерхой тульей, красная шелковая жилетка — позументы, цепочки, сверкающие камешки и монетки, шелковая же блузка цвета палой листвы, бордовая юбка из тяжелой парчи, густо расшитая золотой и серебряной канителью, бархатные туфли на низком каблуке. Но больше всего меня поразило ее лицо — оно было почти ужасным, оно было почти уродливым, оно было странным, однако я не мог оторвать от него взгляда. Слишком длинный и слишком острый нос, слишком маленькие круглые глаза навыкате, слишком большой рот, который от яркой помады казался еще больше, слишком бугристая кожа лица... но это лицо — оно притягивало взгляд, пугало и завораживало...

Тати поздоровалась — у нее был низкий железный голос, сильный и скрипучий, и говорила она так, словно закрывала дверь за каждым словом, — прошествовала в конец стола и опустилась в кресло с высокой спинкой, а на стульях рядом с ней устроились ее придворные кошки — пышная и величественная София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербстская, ленивая гладкая Дуняша и рыжая взъерошенная Дереза с узкими зелеными глазами...

Даша разлила чай в фарфоровые чашки и поставила передо мной блюдо с пирожным.

— Как тебя зовут? — спросила Тати, глядя на меня поверх чашки, поднесенной к губам.

Но я не мог отвечать — на меня вдруг накатило. Я фыркнул.

Она вопросительно подняла бровь.

Я не смог удержаться.

— Самая красивая в мире задница, — едва выговорил я, давясь смехом. — Ве... Венера...

— Картина в гостиной, — сказал дед. — Венера с зеркалом.

— Ага... — Тати строго посмотрела на меня, вдруг подмигнула и спросила своим железным голосом: — Ну и как тебе задница? Понравилась?

— Да, — растерянно ответил я.

— Семен, — сказал дед. — Его называли Семеном.

— У тебя есть вкус, Семен, — сказала Тати. — И чувство прекрасного.

Дед рассмеялся.

Когда часы пробили шесть, Тати встала, зазвенев всеми своими цепочками и монетками, и протянула деду руку. Он наклонился и поцеловал ее. Это было так необычно, что я утратил дар речи. Я боялся, что и меня заставят целовать эту змеобразную руку, эти острые пальцы, унизанные кольцами и перстнями, но — обошлось.

Вот таким и вошел этот дом в мое сознание: холл с черным полом, нагое мраморное женское плечо, выступающее из полумглы между колоннами, запахи цве-

тов и хвойной мастики, лучшая в мире задница, остроносая женщина в ярких одеждах, восседающая на троне с сигаретой в змееобразной руке, окруженная собаками и кошками, луч заходящего солнца, пронзающий тонкую фарфоровую чашку, наполненную золотистым чаем, — образ порядка, форма подлинной жизни, таящаяся глубоко в душе и беспрестанно терзающая своей близостью и недостижимостью, воспоминание не столько яркое, сколько дорогое...

После того памятного чаепития Тати позволила мне бывать в ее доме и играть с двойняшками — Николашей и Борисом, ее племянниками.

Летом меня стригли под ноль, а братья ходили с локонами до плеч — Николаша с золотыми, Борис — с каштановыми. Николаша был выдумщиком и непоседой, а вот его брату всякий раз требовалась минута-другая, чтобы решить, стоит ли ввязываться в какую б то ни было авантюру или нет, но уж если он ввязывался, то шел до конца, тогда как Николаша мог в любой миг остыть, наплевать на все и выйти из игры.

Мы забирались на чердак, где стояли окованные железными полосами сундуки, разошедшиеся комоды, мешки с ветхой одеждой и валялись негодные стулья и кресла. Был еще подвал — жутковатый, но скучный: тусклый свет, холод, запах подгнивающей картошки, пыльные винные бутылки на полках, бочки и кадушки. Мы выбирались на свет и затевали игру в прятки или

войнушку в зарослях сирени или в сосняке, примыкавшем к ограде, за которой лежала речная пойма.

Еще мы следили за Сиротой.

Когда-то его приняли в этот дом истопником и вообще «на все случаи жизни». С годами он как будто сросся с домом и семьей Осорьиных. Всюду у него были устроены тайнички — в доме и во дворе, в которых была спрятана водочка. Никто Сироту всерьез не принимал. Попросят его принести чашку чая — по пути разобьет, а потом еще наврет, что это не он виноват, а какой-нибудь призрак, внезапно явившийся ему в темном коридоре, и будет стоять на своем, усугубляя вранье, пока совсем не заврется, и все это знали, но терпели, привыкли и даже уже и не представляли дома без этого старого шута горохового, от которого всегда пахло водкой, чесноком, дрянным табаком и напрасной жизнью. Впрочем, когда в доме случалась авария, только Сирота мог подсказать мастерам, где в одна тыща таком-то году прокладывали кабель и почему газовая труба изогнута таким замысловатым образом.

Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, Сирота доставал из тайничка бутылку, вытаскивал бумажную пробку, крестился, подмигивал псам — Ганнибалу и Катону, которые не спускали с него глаз, делал солидный глоток, нюхал кусочек сухаря, пришитый к внутренней стороне лацкана, и блаженно стонал, — и вот тут-то мы начинали кричать: «А я вижу! Вижу-вижу!»

Сирота топал ногами, грозил кулаком и лез в заросли жасмина, но нас там уже не было.

За флигелем, в котором жила домоправительница Даша с семьей, находился холм, поросший травой: когда-то это был винный погреб, а в те годы там жил отец домоправительницы, израненный на войне старик Татаринов, глухой и одноногий, который выходил из своей берлоги только по ночам — скрип его деревянной ноги и надсадный кашель доносились аж до Нижних Домов.

Днем дверь в погреб стояла нараспашку, оттуда тянуло плесенью и махоркой, но заглядывать внутрь мы боялись: старик Татаринов казался нам злым разбойником, который только и ждет, чтобы мальчишки оказались в его логове, и держит наготове для них булатный нож и котел с кипящей водой. Мы хором кричали: «Немцы! Немцы!» — и бросались со всех ног прочь.

Дочка домоправительницы Нинон говорила, что ее дед вовсе не разбойник и не людоед, а герой войны. Мы-то считали, что одно другого не исключает, но с Нинон не спорили. Она была голубоглазой, розовой, крепкой и легко забарывала меня и Николашу, уступая только Борису, который был и сильнее, и ловчее. С Нинон было приятно бороться: она была мягкой, и от нее так сладко пахло потом, яблоками и корицей...

Борис называл Нинон «каторжанкой» — правда, только за глаза.

В поселке многие считали, что Нинон — дочь Долотова, которого все называли Каторжанином. Это был огромный широкоплечий старик, костистый, с крупным рыхлым носом, революционер с дооктябрьским стажем, прошедший при царизме тюрьмы и каторгу. Он занимал видное положение и при Ленине, и при Сталине, и даже Хрущеву не удалось «задвинуть» Каторжанина, который считался «совестью партии», хотя все знали его как мерзкого бабника, насильника и растлителя малолетних. Летом он гулял по поселку в просторном полотняном костюме, в тубетейке на бритой голове, с заложенными за спину руками, не глядя по сторонам, волоча за собой тяжелую тень. Завидев его, люди закрывали окна и двери. Когда-то Каторжанин без колебаний отправлял на Лубянку и Колыму тысячи людей, в том числе и соседей по Жуковой Горе, и теперь родные и близкие этих людей платили ему глухой ненавистью.

Помню, как стариков с Жуковой Горы одного за другим увозили — кого на Новодевичье кладбище, кого на Донское или Хованское. Маршалы, партийные деятели, министры, актеры, писатели... Их выносили под траурный марш Шопена, несли до ворот, где ждал катафалк, и там оркестр умолкал, оставляя после себя что-то вроде вакуума, медленно заполнявшегося головами птиц, посвистом ветра, скрипом веток. И лишь однажды порядок был нарушен: когда выносили гроб с телом Каторжанина, оркестр вдруг заиграл «Вы жертвою

пали», и это было так страшно и неожиданно, словно людям в лицо плеснули серной кислотой, и женщины от ужаса заплакали в голос, навзрыд...

Даши Татариновой среди этих женщин не было, но в день похорон Каторжанина она заперлась у себя и плакала.

Николаша и Борис были, в сущности, приемными сыновьями Тати. Ее родная сестра Ирина вместе с мужем Андреем погибла в авиакатастрофе, и мальчиков с двух лет воспитывала тетка. О матери они только и знали, что она была настоящей княжной — из рода князей Осорьиных. Вышла замуж за офицера-ракетчика, они переезжали с места на место, и по пути к очередному месту службы их самолет упал в непроходимой тайге. Спасатели добирались до места катастрофы неделю, сражаясь с беглыми каторжниками, медведями и тиграми. За это время свирепые сибирские комары обглодали трупы до костей.

Часто к нашей компании пристраивался Лерик, сын Тати, который был старше нас на два года. Пухлый, рыхлый, болезненный, он быстро уставал и обижался на нас до слез, потому что мы его не жалели и не признавали его старшинства. Часа через два после обеда во двор выходила Тати в бесстыжей юбчонке, мы помогали Сироте натянуть сетку, и начиналась игра в бадминтон — мы с братьями против Тати и Нинон. Лерик брал на себя судейство, но мы входили в раж, судья нам был ни к черту, и Лерик с обиженной миной удалялся — устра-

ивался в шезлонге неподалеку, открывал книжку и лишь изредка поглядывал на нас с презрительной улыбкой. Похоже, он считал себя аристократом, потому что мыл руки до похода в туалет, а не после, как это делали мы.

А потом на крыльце появлялась Даша, звала полдничать, и мы бежали на террасу, где нас ждало молоко с ванильным сахаром и маленькие свежие кексы, называвшиеся мадленками. Тати пила чай из фарфоровой чашки и курила сигарету, вставив ее в длинный мундштук, обвитый серебряными нитями.

Иногда к нам присоединялся генерал Замятин, с которым Тати жила после смерти мужа, отца Лерика. Замятина в доме все называли просто Генералом или дядей Сашей. Он был высоким крепким мужчиной с узким лицом, боксерским носом и густыми бровями. Генерал приносил стаканы с напитками для себя и Тати, закуривал сигару и разваливался в плетеном кресле, закинув ногу на ногу. Он был хорошим рассказчиком. От него мы узнали о Лохнесском чудовище и индийских йогах, насыщавшихся листьями с «дерева бедных», о рыцарях, которых сажали на коня при помощи подъемного крана, и о том, что ясной ночью в небе над Москвой можно разглядеть невооруженным глазом две с половиной тысячи звезд...

Тати с длинным мундштуком в змееобразной руке, Генерал в белоснежной рубашке, развалившийся в плетеном кресле, потные мальчишки с крошками кекса на губах, Нинон с растрепанными пшеничными волосами,

прилипшими к гладкому розовому лбу, ее мать, задумчиво наматывающая локон на палец, столбы террасы, увитые воробьиным виноградом, летнее солнце, медленно опускающееся в густые кроны старых деревьев, синеватые датские доги, вдруг бесшумно возникающие на посыпанной гравием дорожке, звук колокола сельской церквушки, спрятавшейся за отлогими холмами, — у меня и сегодня сжимается сердце, когда я вспоминаю те дни, когда все мы были бессмертны...

Я учился в той же школе, что и братья Осорбины (десять лет спустя я узнал, что это стало возможно только благодаря протекции Тати). Это была школа «с уклоном», как тогда говорили, то есть там хорошо преподавали иностранные языки, хотя на самом деле там хорошо преподавали все. Николаша в школе блистал: в двенадцать лет он писал прекрасные стихи и был первым не только по литературе, но по истории и английскому. Борис был первым по всем предметам — учителя восхищались его упорством и трудолюбием. Вдобавок, ко всеобщему удивлению, он увлекся музыкой и стал заниматься с репетитором. Мне же приходилось прилагать немало усилий, чтобы держаться хотя бы чуть выше середины. Лерик был звездой школьного театра, и когда он кричал: «Карету мне, карету!», мы забывали о том, что он рохля и нюня, и вместе со всеми вскакивали и бешено аплодировали.

Виделись теперь мы реже, но летом — почти каждый день. Ходили купаться на речку, загорали на песчаных пятачках в ивняках, мечтали о будущем и наперебой ухаживали за Нинон, которая, кажется, не знала, кому отдать предпочтение — блестящему Николаше или властному Борису, а потому целовалась с обоими, возвращаясь домой с распухшими губами, которые натирала сырым луком, чтобы мать ничего не заметила. Крупная, яркая, стройная, Нинон поражала ранней женственностью, и когда она шла с реки в одном купальнике, чуть покачивая сильными бедрами, мужчины провожали ее плотоядными взглядами.

Ужинали мы в кухне, а потом пробирались в гостиную, где часто собиралась большая шумная компания — писатели, музыканты, живописцы, актеры, молодые мужчины и женщины, фронтеры и диссиденты. Они говорили о Парижском мае и Пражской весне, о Солженицыне и сталинских лагерях, о «Бесах» и «Поэме без героя», о прошлом и будущем России...

Тати нравилось общество этих людей.

Помню, как она рассказала гостям о своем знакомстве со Сталиным, который однажды поздно вечером приехал проведать ее отца: Дмитрий Николаевич Осорин в то время тяжело болел. Тати — тогда ей было шестнадцать — проснулась от шума, взяла свечу и вышла в коридор в чем мать родила, как вдруг из темноты появился Сталин. Тати остолбенела от страха. Сталин

смерил ее взглядом с головы до ног, хмыкнул и сказал, обращаясь к свите:

— Вот настоящее оружие массового поражения, а вы все талдычите: бомба, бомба...

И задул свечу.

— И вы были без ничего? — спросил кто-то.

— Как это без ничего? — Тати снисходительно улыбнулась. — А сиськи?

Хохот, фырканье и аплодисменты.

Даша и Нинон то и дело подносили откупоренные бутылки, лилось вино, кто-то читал стихи, кто-то пел под гитару, а кто-то попросту лапал женщин.

Николаша упивался этой атмосферой, этими разговорами, а мы с Борисом вскоре ускользали, чтобы в каком-нибудь тихом уголке сыграть партию в шахматы. Борис всегда выигрывал.

Когда много лет спустя я спросил Тати, как генерал КГБ Замятин относился к этим ее гостям, она ответила: «Однажды Саша сказал мне, что он разведчик, а не стукач, и больше мы никогда не возвращались к этой теме».

После школы мы поступили в университет — Николаша с Борисом на юридический, а я — на филологический, на кафедру русской литературы.

Мы знали, что Николаша *пишет*, но когда несколько рассказов двадцатилетнего студента-третьекурсника опубликовали в «Новом мире», это стало настоящей сенсацией. Рассказы были мастерские, блестящие, с чер-

товщинкой — о Николаше заговорили как о будущей звезде русской литературы.

Вскоре Николаша женился на красавице Алине, студентке театрального училища, о которой, впрочем, Тати как-то сказала: «Бросается в глаза, но не врежется в память». У них родился сын, которого назвали Ильей.

Жизнь с холодной и капризной Алиной скоро наскучила Николаше. Он много писал, рвал написанное и снова писал, после обеда спал, вечером сидел в плетеном кресле на террасе, потягивая вино, а Нинон прижималась к нему горячим своим телом, иногда испуганно вскидывая голову, если ей слышались чьи-то шаги.

Через год Нинон родила мальчика, которого назвала Митей.

В доме все, конечно, знали о том, кто отец ребенка, но никогда не говорили об этом вслух.

«Только Бог имеет право называть вещи своими именами, — сказала как-то Тати. — Но зато нас Господь наградил чудесным даром умолчания, намека и вымысла».

Еще одним даром Господним — и осорьинским богатством — она считала двусмысленность и шаткое равновесие жизни. И вот это шаткое равновесие было нарушено.

Николаша опубликовал повесть — критики подвергли ее форменному разгрому, обвинив автора в беспомощности и вторичности, а его прозу — в жеманстве, манерности и искусственности. «Автор попытался компенсировать нехватку жизненного опыта мастер-

ством, но жизнь и на этот раз одержала верх над искусством» — так витиевато выразился самый благожелательный из критиков.

Николаша запил. Каждый день он ссорился с Нинон и Алиной, избегал разговоров с Тати. На ночь устраивался в летней беседке, скрытой от посторонних глаз пышными кустами жасмина.

Тати поручила Сироте присматривать за племянником, и каждую ночь старик, сняв сапоги, на цыпочках пробирался к беседке, чтобы утром сокрушенно доложить хозяйке, сколько и чего выпил Николаша. Тати курила и угрюмо молчала.

Однажды утром Николаша не проснулся: передозировка метаквалона, который он принимал с вином.

На похоронах обугленные от горя Алина и Нинон рыдали, обнявшись, но на поминках законная вдова устроила скандал и выгнала из-за стола незаконную, и Борису пришлось на руках отнести бившуюся в истерике Алину наверх, в спальню. Нинон плакала в кухне, повторяя: «Это она его отравила... она-она-она...» Все знали, что метаквалонем Николашу снабжала жена.

Не прошло и года, как Борис и Алина поженились. Свадьба была скромной, тихой, без гостей, если не считать меня. Алина напилась. Борис пожал плечами, взял бутылку шампанского и отправился к Нинон, с которой и провел первую брачную ночь. Но их общий ребенок — Ксения — появился только через десять лет.

Еще студентом я помогал Тати разбирать архивы. Это было богатейшее — во всех смыслах — собрание писем, рукописей, дневников, картин, антиквариата. Все это досталось ей от мужей и любовников.

Ее первый муж был полковником, собравшим огромную коллекцию старинных вещей. Тати прожила с ним чуть больше года: полковника расстреляли в тот же день, что и его патрона Берию, а тело растворили в бочке с серной кислотой.

Оставшись одна после смерти отца, матери и мужа, Тати стала любовницей Ивана Тверитинова. Сегодня его называют предтечей новейшего абстракционизма, работы его продаются за огромные деньги на международных аукционах, а в те годы экстравагантный художник зарабатывал на жизнь рисованием вывесок. Тати свела его со знатоками, в том числе с иностранцами, которые время от времени покупали у Тверитинова картины.

«У него я многому научилась, — сказала мне однажды Тати, — но по духу он был бродягой, а я жить не могла без этого дома».

После трагической гибели Тверитинова любовница перевезла все его работы на Жукову Гору, а его мастерскую — сарай на пустыре — сожгла, как и завещал художник.

На похоронах Тверитинова она встретила Константина Тарханова, одного из руководителей Союза

писателей. Он стал первой ее любовью, а она — его последней.

Когда-то портреты Тарханова висели во всех библиотеках и школах: он был автором романов о революции и Гражданской войне, которые советская критика признавала классическими. Когда началась сталинская унификация жизни, Тарханов возглавил Союз писателей и практически отошел от творчества. Он был широким человеком: с трибуны призывал к расправе над Ахматовой, Пастернаком, Зощенко, Платоновым, а потом помогал опальным писателям деньгами, а то и спасал от лагерей и расстрела. После смерти Сталина, после Двадцатого съезда положение его пошатнулось. Он пил и менял женщин, пытаясь спастись от растущего одиночества. Встреча с Тати на время вернула его к жизни.

«Это была страсть, — вспоминала Тати. — Настоящая страсть, которая переросла в настоящую любовь».

От Тарханова она и родила Лерика.

Счастье их, впрочем, продолжалось недолго: Тарханов вскоре окончательно спился и застрелился, будучи не в силах выдержать ненависти коллег, обвинявших его в том, что в годы Большого террора он был причастен к гибели сотен безвинных людей — литераторов, их жен и детей.

Тати знала, что Тарханов всю жизнь собирал письма и рукописи писателей, но и вообразить не могла, какие сокровища хранились в его архиве. Это были письма и черновики Пушкина и Грибоедова, Достоевского

и Лескова, Блока и Шолохова, Платонова и Пастернака. Можно было только гадать о том, какими путями в этот архив попали личные бумаги Вольтера, Диккенса, Гарибальди, Оскара Уайльда, Рембо, Рильке, Джойса и Селина.

Тати вела переписку с университетами, библиотеками, галереями, аукционными домами, исследователями, которые хотели получить доступ к ее бесценному архиву, дарила или продавала некоторые материалы, следила за публикациями, вела судебные тяжбы.

Это была нелегкая рутинная работа, и Тати то и дело звала меня на помощь. Уже тогда, в советские годы, мой словарь обогатился такими понятиями, как лот, эстимейт и *price-fixing*. В конце концов, узнав о крахе моего второго брака, она предложила мне стать ее секретарем и перебраться на Жукову Гору, «под руку».

К тому времени Тати похоронила Генерала, с которым прожила более двадцати лет. Иногда он исчезал на несколько месяцев, однажды его не было полтора года. И всякий раз Тати терпеливо ждала его — ждала, когда у ворот остановится его машина, чтобы выйти на крыльцо, как ни в чем не бывало поцеловать своего Сашу напомаженными губами в душистую щеку, затануться сигаретой, вставленной в длинный мундштук с серебряными нитями, и проговорить: «Соль на столе, дружок» — проговорить в своей обычной манере, так, словно закрывала дверь за каждым словом, а ночью поорать всласть в объятиях своего ненасытного любовника.

На его похоронах она была невозмутима: «При чужих не плачут».

В последние годы жизни Генерал возглавлял международную консалтинговую компанию, и к его услугам часто прибегали видные бизнесмены и политики. Незадолго до смерти он попросил Тати «присмотреть за девочкой» и привез на Жукову Гору пятилетнюю Лизу, у которой были красивые глаза, ядовитый язык и врожденный вывих бедра. Кажется, она была дочерью Замятина от одной из его жен, разбросанных по всему свету. Во всяком случае поначалу девочка говорила по-английски гораздо лучше, чем по-русски. В доме шептались, что Генерал оставил девочке огромное состояние, которым, однако, она сможет распоряжаться только после того, как выйдет замуж, но правда это или нет — никто, кроме Тати, не знал, а она молчала.

После смерти Генерала Тати несколько раз заводила любовников, но эти связи были непродолжительными. «Этих мужчин можно пригласить в постель, — говорила Тати, — но не за стол». А вскоре она и вовсе успокоилась: «От старой женщины пахнет не женщиной, а старухой. Таким запахом не торгуют». Пахло всегда от нее, впрочем, свежим табаком и чуть-чуть духами — ее любимым гиацинтом.

Память о прошлом была материализована и сосредоточена в «алтарной» — так в шутку стали называть небольшую комнату, примыкавшую к гостиной, где на столиках и комодах, в шкафчиках и коробках храни-

лись семейные реликвии: ржавая железная перчатка, принадлежавшая князю Осорьину — победителю литовцев, грубоватый золотой перстень, снятый с руки князя Осорьина, казненного по приказу Ивана Грозного, двузубая вилка с гербом и еще несколько столовых приборов, которыми пользовался князь Осорьин — сподвижник Петра Великого, игральные кости князя Осорьина, павшего в битве под Гросс-Егерсдорфом, сабля подполковника Осорьина, ответившего Наполеону: «Я только держал строй, ваше величество. Держал строй», солдатская зажигалка, сделанная из патронной гильзы, с которой генерал Дмитрий Осорьин не расставался до самой смерти, курительная трубка Тарханова, несколько темных икон в серебряных окладах и, конечно, портреты — генералы, кавалергарды, сановники, епископы, монахи, отец и мать Тати, Тверитинов — в расстегнутой рубахе, с запянцовской физиономией, Николаша, ослепительно улыбающийся в объектив...

Нинон следила за тем, чтобы в «алтарной» всегда был идеальный порядок. В памятные дни Тати и Нинон зажигали свечи перед портретами и ставили в вазы свежие цветы.

Жизнь в доме текла размеренно, без головокружительных взлетов и падений. И уже давно — без псов и кошек, которые отошли в мир иной — сначала Ганнибал, Миньон и величественная София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербстская, за ними Катон и Ми-

зер, потом ленивая гладкая Дуняша, наконец, рыжая зеленоглазая Дереза.

После завтрака я помогал Тати разбирать архив. Часа за полтора до обеда мы отправлялись вдвоем «на воздух». Это было нелегкое испытание для меня: Тати не любила чинных прогулок, шла быстрым шагом, выматывая спутника. До преклонных лет она почти каждый день летом гоняла на велосипеде, а зимой — на лыжах. После обеда все в доме отдыхали, потом пили чай, и мы с Тати снова принимались за дело. Чаще всего в это время мы составляли черновики писем, которые я на следующий день доводил до ума и относил на подпись Тати. По будням ужинали небольшой компанией — Тати, Алина, я, иногда к нам присоединялся Лерик. В субботу за столом собиралась вся семья — Тати, Борис, Алина, Илья, Лиза, Лерик, Нинон, Ксения, Сирота, Даша и я. Митя, сын Нинон, в наших застольях никогда не участвовал.

Жизнь изменилась сильно, гораздо сильнее, чем все эти люди.

Проработав несколько лет в прокуратуре, Борис перешел в крупную государственную нефтяную компанию, где вскоре стал вице-президентом, а потом занял важный пост в правительстве. Он остался все тем же — твердым, властным, красивым и неразговорчивым. Иногда по вечерам мы играли в шахматы — Борис, конечно, побеждал. Случалось, что после ужина он садился за рояль и подолгу играл — Брамса, Шопена, Листа. Ком-

панию ему разрешалось составлять только Тати — она сидела в кресле у окна, потягивала вино и курила, изредка подкидывая на ладони монетку — медный пенс, память о Генерале. Потом он на несколько минут поднимался к Алине, чтобы пожелать ей спокойной ночи, и отправлялся к Нинон.

Нинон была по-прежнему крепкой и неунывающей женщиной. Узнав о том, что Борис придет к ужину, она бросалась в парикмахерскую, делала маникюр-педикюр, тщательно одевалась, а за столом то бледнела, то краснела, глядя на Бориса, словно ей было не за пятьдесят, а четырнадцать. В такие минуты она источала дразнящий запах, будораживший всех мужчин, оказавшихся за столом. Она любила Бориса до дрожи, до обожания. И как она гордилась своим животом, когда забеременела, как гордилась Ксенией...

Девочка выросла здоровой, яркой, неглупой — вся в мать. А вот сын Нинон — Митя — стал семейным проклятием: этот циничный смазливый парень с блатными повадками то и дело попадал в неприятности, из которых Тати и Борису приходилось его вытаскивать, и ненавидел всех — даже Алину, которую обеспечивал таблетками и время от времени «ублажал», как выражался Сирота.

Разумеется, Алина знала про Нинон и Ксению, но заговаривала об этом редко. Да и понять ее иногда было попросту невозможно: алкоголь и таблетки разрушали ее мозг. Целыми днями она лежала в постели,

курила, смотрела телевизор, спала, выпивала, а то среди ночи бродила по дому в коротенькой ночной рубашке, декламируя монологи леди Макбет или, того хуже, Джульетты. Актриса из нее не получилась: читала она напыщенно, манерно, то подвывая, то самым пошлым образом переходя на шепот. Время от времени она спохватывалась, переставала пить, приводила себя в порядок и выходила к столу в каком-нибудь смелом наряде, демонстрируя коленки и плечи, которые когда-то были и впрямь хороши. В такие дни она становилась суетливой, слезливой и жалкой девочкой-старушкой, приставала к домашним, требуя внимания, и мне не всегда удавалось выпроводить ее из своей спальни. Но вскоре она снова возвращалась к алкоголю, таблеткам и телевизору.

Горше всего ей было сознавать, что она уже не принадлежит к тем женщинам, которых любит зеркало. Она завидовала твердому спокойствию Тати, неугасающей влюбленности Нинон, полудетскому обаянию Ксении, но особенно сильно она завидовала ослепительной красоте Лизы, которую называла «прекрасной гадюкой».

И хотя сказано это было в сердцах, доля правды в этих словах была. Лиза выросла дивной красавицей, но красавицей ядовитой. Она не верила, что мужчины, которые всегда увивались за ней, любят ее, а не ее деньги, о которых все шептались, и потому с наслаждением унижала их, заставляя ползать на коленях и вымаливать прощение за несуществующие преступления.

Когда она шла по коридору, припадая на увечную ногу, извиваясь всем телом и постанывая от переполнявших ее чувств, казалось, что это не человеческое существо, а вставшая на хвост змея, готовая укусить любого, кто попытается помочь ей или хотя бы приблизиться. Высокая, тонкая, с длинной шеей и худенькими руками, она была воплощением боли, отчаяния и ненависти.

Впрочем, она никогда не нападала на Тати, Бориса и Илью: Тати была прирожденной дрессировщицей, Борис не обращал на нее внимания, а Илья, почуяв угрозу, хватал Лизу в охапку, рычал, кусал за ухо, кружил и убегал, послав на прощание воздушный поцелуй. Остальным же приходилось несладко. С особенным наслаждением Лиза измывалась над Лериком, который боялся ее и заискивал перед прекрасной гадюкой.

Лерик... ах, бедный Лерик... слабость его оказалась сильнее, чем мы ожидали... Он переходил из театра в театр, нигде подолгу не задерживаясь, виня в своих неудачах режиссеров, братьев-актеров, гримеров, драматургов, кого угодно, но только не себя.

«Ничего, главная моя роль впереди, — бормотал он, выпивая в компании Сироты, постоянного своего собутельника. — Вы еще увидите и услышите... все увидите и услышат... все...»

Тати любила его слепо, беззаветно, хотя многие считали, что Лерик не заслуживает такой любви: пьяница, лодырь, недотепа, размазня и посредственный актер.

В сильном подпитии Лерик признавался, что лучшей ролью в его жизни была роль Петушка в детском спектакле, в финале которого он самозабвенно и звонко кричал «ку-ка-ре-ку», кричал так вдохновенно, так гениально, как ни до него, ни после не удавалось кричать никому на театре. А еще Лерик лет двадцать сочинял роман, который, как он уверял, обязательно перевернет русскую литературу и обессмертит имя автора.

Он был женат, и не раз, но, разумеется, неудачно.

Если его особенно сильно донимали упреками, Лерик прибегал к последнему и безотказному средству. Он закрывал глаза и говорил глухим голосом, как бы тщательно скрывая отчаяние: «Господи, на моих глазах отец застрелился, а вы...» Тарханов пустил себе пулю в рот, держа сына за руку, и о его *потной ледяной руке* Лерик мог рассказывать часами, заставляя слушателей не только прочувствовать весь ужас его жизни, но и искорчиться от стыда за рассказчика.

Не меньше беспокойства доставлял хозяйке дома Илья, сын Николаши и Алины. Высокий, синеглазый, легкий, веселый, этот шалый парень был всеобщим любимцем. Школу он окончил с золотой медалью, университет — с красным дипломом, но по специальности не работал ни дня. Борис устроил пасынка на необременительную должность в своей нефтяной компании, в управление международного сотрудничества. Хотя Тати никогда об этом не говорила, все считали, что ей хотелось бы женить Илюшу на Лизе, чтобы деньги

Генерала не ушли из семьи. Но Илья только смеялся, когда с ним заговаривали об этом. Он даже не пытался ухаживать за Лизой, а Ксению, у которой при встрече с ним шея покрывалась красными пятнами, а на глазах выступали слезы, вообще не воспринимал как женщину. Гоночные автомобили и мотоциклы, прыжки с водопадов, купание с крокодилами, русская рулетка — вот что влекло его неудержимо. Из поездок по стране и из-за границы он часто возвращался с переломанными руками, ногами, ребрами, в гипсе, в корсете, ходил по двору на костылях (и раскрасневшаяся от счастья Ксения с такой преданностью ухаживала за ним, что у Нинон разрывалось сердце), но стоило ему почувствовать себя лучше, как он снова принимался за свое.

Именно Илья и привез в дом на Жуковой Горе ту девушку — Ольгу Шварц, из-за которой жизнь Осорьиных за одну ночь перевернулась и изменилась самым неожиданным образом.

Это случилось вечером в воскресенье, когда Илья возвращался из Москвы. Его машину занесло на обледеневшей дороге метрах в трехстах от поворота на Жукову Гору, и он сбил девушку, которая шла по обочине. Илья вытащил девушку из сугроба, усадил в машину и привез в дом на холме. Девушка слегка прихрамывала, но не жаловалась: «Да ерунда! Подумаешь, синяк на жопе!» Одетая она была не по-зимнему: на ней была короткая курточка, мини-юбка, чулки в крупную сетку и туфли на

высоких каблуках. Она была грубо покрашена, пахло от нее пивом и дешевыми духами. Илья съездил за врачом, который не обнаружил у девушки ничего серьезного.

Она рассказала, что ехала с подружками на вечеринку, но по пути они переругались, она вышла из машины, заблудилась и вот попала сюда, в этот дом.

— Оставайтесь, — сказал Илья. — Переночуете у нас, а там видно будет.

Девушка кивнула и протянула руку:

— Ольга. По паспорту — Шварц, но я не еврейка, честное слово, это фамилия отчима.

Илья расхохотался.

Тем же вечером я и познакомился с Ольгой. А рано утром уехал в Москву. В те дни мы с Тати завершали работу над важным проектом — изданием полного собрания сочинений Николаши, Николая Осорьина. Его произведения издавались и раньше, и все уже привыкли к тому, что за свою короткую жизнь Николаша успел написать полтора десятка хороших рассказов и оставил после себя кипу черновиков и набросков. Но за год до описываемых событий Сирота обнаружил в комод, стоявшем на чердаке, несколько папок, в которых оказались две повести, пять рассказов, пьеса, несколько замечательных миниатюр — о существовании этого богатства никто и не подозревал.

Тогда же к Тати обратился издатель Иноземцев, рассказавший о странной женщине, которая принесла ему двести с лишним страниц прозы, принадлежавшей

перу Николаши. Тати отправила меня к этой Ирине. Она оказалась любовницей Николаши. Эта одинокая дама, побитая жизнью, испитая и взбалмошная, больше двадцати лет хранила рукописи, с которыми готова была расстаться на определенных условиях. Переговоры с нею отнимали немало времени и сил: то она требовала несусветных денег, то хотела, чтобы книгу предварял очерк, в котором она собиралась рассказать о своих отношениях с Николашей — она называла его «возлюбленным», а то и вовсе несла вздор о сыне, прижитом от Николая, хотя ее ребенку было всего пять лет...

Тати участвовала только в составлении издательского договора, а вся подготовка четырехтомника к печати легла на меня: я вычитывал и сверял рукописи, держал корректуры, обсуждал с художниками макет, шрифты и обложку. Возвращаясь вечером на Жукову Гору, я докладывал хозяйке о работе, наскоро ужинал в кухне, заводил будильник и ложился спать.

Понятно, что Ольгу я видел мельком и о ее жизни в осорьинском доме знал мало. Но чувствовал: здесь происходит что-то необычное, непонятное, какие-то атмосферные изменения, вызванные — в этом не было сомнений — именно Ольгой Шварц.

Вернувшись поздно вечером в понедельник на Жукову Гору, я застал в гостиной веселую компанию: Борис наигрывал что-то джазовое на рояле, Илья разглагольствовал, разливая вино по бокалам, раскрасневшийся Лерик пытался перекрычать его, Лиза хохотала,

откинувшись на спинку кресла, а Ольга в трусиках и лифчике изображала стриптизершу у шеста, то есть у метлы, принесенной Ксенией, — она тоже была там и не отрывала взгляда от Ольги.

В будние дни Борис, Илья и Лиза обычно ночевали в Москве, и нужны были веские причины, чтобы заставить их в понедельник вечером вернуться на Жукову Гору. Но это еще ничего, а вот Лиза — Лиза напугала меня по-настоящему: она и улыбалась-то редко, а хохочущей я не видел ее никогда.

Нинон я нашел в кухне. Она пила коньяк, мрачно уставившись в угол, и, пока я ужинал, не проронила ни слова. Такой мне еще не приходилось ее видеть.

— Ксения там? — вдруг спросила она, когда я уже собрался уходить.

— Там.

— Вот сучка, — сказала Нинон.

И я голову готов дать на отсечение, если сучкой она назвала свою дочь.

После ужина я рассказал Тати о том, что удалось сделать за день, но слушала она невнимательно, была рассеянна, стряхивала пепел на ковер, чего за ней никогда не водилось, и мне показалось, что левое веко у нее подергивается. Когда я спросил об Ольге, она небрежным тоном заметила, что когда-то таких называли девушками, которые не носят шляпы. Это было в те времена, со смехом сказал я, когда приличная девушка не могла

сесть в кресло, с которого только что поднялся мужчина. Но Тати было не до шуток, и она сменила тему.

Ту ночь я провел в поселке.

Года за два до того я познакомился с Варварой, милой молодой женщиной, растившей в одиночку дочь. По субботам и воскресеньям, когда собиралось много гостей, Нинон звала ее на помощь: Варвара всегда нуждалась в деньгах. Она помогала готовить, убирать, была тихой, незаметной и вскоре стала почти что своей в осорьинском доме. Поздно вечером я провожал ее до дома, мы болтали о том о сем, потом я стал иногда оставаться у Варвары на ночь. Она была не прочь выйти за меня, а мне казалось, что лучшей жены я уже не найду, но поскольку и у Варвары, и у меня был опыт неудачной супружеской жизни, мы решили не торопить события.

Так вот, в ту ночь Варвара рассказала мне, что Ольга свела с ума весь осорьинский дом. Тати в растерянности, Нинон — в гневе: Ольга осмелилась кокетничать с ее Борисом, и тот, похоже, не остался равнодушен к «этой сучке». В первую же ночь она переспала с Ильей. А вдобавок ей удалось каким-то образом очаровать Лизу, что поразило всех, даже Сироту.

Вечером во вторник я ужинал в компании Сироты, и он рассказал о ссоре между Борисом и Ильей:

— Чуть до кулаков не дошло. И все из-за нее, из-за этой: не поделили.

— Она ничего, — сказал я. — Привлекательная.

Сирота оглянулся, лег грудью на стол и прошептал, дыша на меня перегаром:

— Двухсбруйная она, доктор...

— Лесбиянка?

— С Лизой у нее это... было у них, доктор... понимаешь?

Доктором в семье Осорьиных меня называли, разумеется, в шутку — в память о деде-фельдшере, которого все на Жуковой Горе почтительно именовали доктором Постниковым.

Ночь со среды на четверг мне пришлось провести в Москве, а в ночь на пятницу я впервые лицом к лицу столкнулся с Ольгой.

Я вернулся на Жукову Гору за полночь. Не заходя к себе, пробрался в кухню и увидел Ольгу, сидевшую на высоком стуле у барной стойки, уставленной бутылками. Она выпила, закинув голову, и только после этого повернулась ко мне. На ней была шелковая маечка, едва доходившая до бедер.

— Доктор, — сказала она. — Выпьете со мной, доктор?

Не дожидаясь ответа, наполнила стаканы доверху водкой.

Я снял пальто и сел напротив. Отсюда я наконец-то мог хорошенько ее рассмотреть.

Нет, она не была красавицей: чуть приплюснутый нос, выступающая нижняя губа, раскосые глаза, слишком большая грудь и слишком широкие бедра. Тем не менее при взгляде на нее сразу возникала мысль об идеальной женщине. А главное — она была естествен-

ной. С первого взгляда было ясно, что красится она лет с двенадцати, знает, чем замазать синяк под глазом и что делать, если парень забыл о презервативе. И с первого звука было ясно, что ее словарный запас, конечно, побольше, чем у беспризорника, но не богаче, чем у базарной торговли. Но она и не пыталась этого скрывать. Она вела себя так же естественно, как собака, грызущая кость. И вдобавок — вся она как будто светилась. Это дар Божий, дар природы, наследственность — как угодно, но ее тело светилось, взгляд завораживал, а голос вызывал дрожь.

— Как вам тут? — спросил я, чтобы разрядить затянувшуюся паузу.

— Как в сказке, — сказала она. — Страшно, как в сказке.

— Страшно?

— Ну не знаю... они все тут такие важные, а я кто?

Нет никто и звать никак.

— Но почему страшно-то?

Она вздохнула.

— Войти-то я вошла, доктор, а как отсюда выйти — не знаю. Спокойной ночи.

Поцеловала меня в висок и вышла, обдав невероятным звериным запахом своего тела.

Я вспомнил эти ее слова, когда вечером в пятницу вернулся на Жукову Гору, толкнул дверь и увидел в холле Сироту, который тряс школьным колокольчиком, возвышаясь над голой и мертвой Ольгой, лежавшей ничком на полу.

В ту пятницу я наконец завершил дела, связанные с изданием четырехтомника Николая Осорьина, и возвращался на Жукову Гору с сигнальным экземпляром первого тома в портфеле.

Стояли сильные морозы, над Москвой поднимались густые столбы пара и дыма, фонари и звезды пылали каким-то особенно ярким светом.

Такси остановилось у въезда в поселок, и мне пришлось бежать вприпрыжку — в гору мимо черных домов, окруженных черными слями, по твердому, как асфальт, снегу, который на каждый шаг отзывался даже не скрипом — отчаянным писком.

Помню, я представлял себе, как обрадуется Тати и как мы с ней выпьем по такому случаю по рюмочке коньяку, который так хорошо согревает промерзшего мужчину...

И конечно же, я думал о Варваре: она была на девятом месяце. Получилось это случайно, но мы решили оставить ребенка. Варвара из суеверия боялась узнавать пол будущего младенца. На всякий случай мы заготовили два имени: если родится девочка, назовем Татьяной, а мальчик будет Семеном. Две недели назад мы подали заявление в ЗАГС и попросили отца Владимира обвенчать нас — в сельской Преображенской церкви, где венчались девять поколений Осорьиных.

Понятно, что задерживаться в доме на холме мне вовсе не хотелось.

Я с удовольствием потоптался на крыльце, сбивая снег с ботинок, толкнул дверь и замер, увидев голую и мертвую Ольгу, лежавшую на полу, пьяненького Сироту со школьным колокольчиком в руке, суровую Тати в бордовом халате, расшитом золотыми звездами, невозмутимого Бориса в распахнутой на груди белой рубашке, взволнованную Лизу в облегающем платье с глубоким вырезом, растерянно улыбающегося Лерика с бакенбардами *mutton chops*, утрюмую Нинон с неразрушенной прической, в огненном халате, разошедшемся на груди, и снова Ольгу, лежавшую на полу с разметавшимися по плечам волосами, левая рука ее была сжата в кулак; и тут меня замутило, я понял, что сигнальный экземпляр никому здесь не интересен, и не будет рюмки коньяку, потому что на полу лежит голая и мертвая Ольга, все изменилось, изменилось бесповоротно, и, боже мой, подумал я, убийство в доме Осорьиных, боже мой, подумал я, и ведь не исключено, что убийца прячется где-то в доме или даже стоит здесь, в холле, и наконец я закрыл за собой дверь, и на улице что-то лопнуло с оглушительным звоном, и Лиза с отчаянным криком бросилась к Борису, он обнял ее за плечи, Лерик чертыхнулся, Тати нахмурилась, Нинон перекрестила свою прекрасную грудь...

— Похоже, это сосна, — сказал я.

— Сосна? — Тати нахмурилась. — Господи, какая еще сосна, доктор?

— От мороза сосна треснула, — сказал я. — Или береза. На улице минус тридцать.

— Надо же... — Лерик нервно хохотнул. — Сосна!..
Нинон вздохнула.

— Звонить? — спросила она.

— Нет, — сказала Тати будничным голосом. — Я хочу понять, что мы скажем обо всем этом чужим. Я хочу поговорить со всеми, с каждым. С каждым. Я должна понять, что произошло. А потом — потом будем звонить. В конце концов, если мы скажем, что нашли ее утром, это будет не такой уж большой ложью... Первый — Сирота. Через полчаса у меня. И вы, доктор, прошу вас...

Повернулась к Лерику.

— Сбрил бы ты эти свои бакенбарды, что ли. Ты с ними на какого-то мелкого жулика похож... или на кучера...

И ушла.

Никогда не вел я дневника, а записи, сделанные наспех тогда и отложенные в долгий ящик, превратились со временем в такие бессмысленные каракули, что при изложении событий той ночи мне приходится полагаться главным образом на свою память и воображение.

Тридцатиградусный мороз, сигнальный экземпляр, тело Ольги на черном мраморе, дикий звук лопнувшей сосны, вопль Лизы, прекрасная грудь Нинон, дурацкие

бакенбарды Лерика — вот что сохранилось в памяти. И еще — слова Тати о чужих...

Тати не раз говорила, что знает обо всем, что происходит в доме, потому что дом и она — одно и то же. И при ее наблюдательности и умении задавать вопросы, думал я, установить имя убийцы будет не так уж трудно, если, конечно, это кто-то из обитателей осорьинского дома, а не посторонний человек. Хотя вряд ли убийцей был чужак. Ворота с кодовым замком, высокий забор, сигнализация... И потом, только свои знали о том, что мертвое тело могут долго не обнаружить: зимой холлом пользовались редко, он отделялся от гостиной и зала дубовыми дверями и плотными портьерами, а тем, кто приезжал на машинах, было проще пройти десять метров от гаража до черного входа, чем огибать дом.

Словом, все сходилось к тому, что убийца — либо кто-то из Осорьиных, либо кто-то из Татариновых. Единственным человеком вне подозрений был я. К такому же выводу наверняка придут и «чужие», то есть следователи милиции или прокуратуры, и, что бы ни сказала им Тати, что бы ни солгала, репутацию семьи ей спасти не удастся. Но репутацию ли она имела в виду? А если нет, то что? Тогда у меня не было ответа на этот вопрос.

Торопливо пережевывая холодное мясо и поглядывая на часы, висевшие на стене в кухне, я думал о том, что убийство Ольги — это какая-то страшная ошибка жизни, нелепая случайность. И вопрос «кому выгод-

но?» тут так же нелеп и бессмыслен, потому что ответ был очевиден: никому.

Ольга провела здесь всего пять дней, для Осорьиных она была экзотическим зверьком, игрушкой, забавой, а вовсе не роковой женщиной, из-за которой здесь могли бы разгореться страсти-мордасти. Допускаю, что она вполне могла вызвать в этом доме изменения атмосферные, но тектонические — нет, ни за что: слишком хорошо я знал Осорьиных, а они слишком хорошо знали черту, которую никто из них никогда не переступил бы.

Я поймал себя на том, что рассуждаю как персонаж детективного романа, и чертыхнулся. Ну конечно же, я люблю истории про сыщиков, но жить по законам детективного романа нормальный человек не может: каким бы характером ни наделял его автор и в какие бы обстоятельства ни ставил, персонаж неизбежно становится одномерным типом, который поглощен деталями, одержим плоскостопым морализаторством и склонен к паранойе. Хотя, впрочем, с другой стороны — Эркюлю Пуаро было бы неуютно в «Преступлении и наказании», дочитай он его до конца.

Четыре комнаты, которые Тати занимала в первом этаже, Сирота почтительно называл Габинетом, потому что слово «кабинет» казалось ему неподходящим для святилища.

Первой комнатой была приемная — маленькое помещение с двумя диванчиками, традесканцией на

подоконнике и напольными часами. Здесь хозяйка выдерживала провинившихся, и я помню, как не по себе становилось нам, детям, когда домоправительница Даша сурово приказывала: «А теперь — марш в кабинет, Тати там вас всех ждет не дождется», и мы рассаживались по диванам в ожидании вызова на суд и расправу.

В углу приемной на низком столике были расставлены бронзовые фигурки скачущих всадников — из-за них эта комнатка называлась в обиходе Конюшной. Фигурок было двенадцать. Это были легендарные всадники Осорьиных. По преданию, сыновья князя Никиты Осорьина поссорились из-за наследства, развязали войну и погибли в братской междоусобице. После этого старый князь с двенадцатью верными дружинниками удалился в лесной скит, где и умер от горя. Земли его отошли великому князю Московскому, а об Осорьине вскоре забыли. Однако спустя несколько лет, когда на Куликовом поле сошлись русские и татарские войска, осорьинские всадники вдруг появились в гуще битвы. Двенадцать исполинских всадников в черных одеждах, расшитых белыми крестами, бились с татарами яростно и бесстрашно, а когда Дмитрия Донского сбили с коня, образовали вокруг великого князя живое кольцо, защищая его от врагов. Когда же битва закончилась, всадники исчезли, и отыскать их так и не смогли. Эти же всадники в 1395 году спасли Россию от нашествия Тамерлана. После разорения Рязани Тамерлан с огромным войском двинулся на беззащитную Москву, но 26

августа неподалеку от Ельца увидел перед собой двенадцать всадников в черном, которые, как говорит предание, «со свирепым спокойствием» ждали приближения врага. Тамерлан «устрашился и приказал повернуть назад». Всадников Осорьина видели и на берегах Угры, где осенью 1480 года пало трехсотлетнее татарское иго, а в октябре 1552 года осорьинская черная дюжина первой ворвалась в осажденную Казань через Арские ворота, увлекая за собой русские полки. Если верить легенде, эти черные всадники появлялись на полях сражений в критическую минуту, когда судьба России висела на волоске, и воодушевляли русских своим примером. Их видели под Полтавой летом 1709 года и на Бородинском поле в 1812-м, а в последний раз они явились русским войскам поздней осенью 1941 года, когда немцы подошли к Москве так близко, что могли в бинокли разглядеть звезды на кремлевских башнях...

Бронзовые эти фигурки были отлиты самим Лансере, который поднес их своему другу князю Осорьину, деду Тати по отцу.

Собственно кабинет занимал вторую комнату, довольно большую, уютную, обставленную старинной мебелью, с фотографиями на стенах и картиной Тверинова, на которой Тати была изображена в цветастом простецком сарафане с глубоким вырезом, в летней шляпке набекрень, с облупившимся носом, веселая, пьяненькая, со стаканом вина в руке и папироской в зубах. Портрет этот странным образом замечательно

гармонировал с солидной мебелью, придавая чинной гармонии кабинета чуть фамильярный и иронический оттенок. Тут еще были просторный письменный стол с множеством ящиков, глубокие кожаные кресла, удобная оттоманка, на которой Тати любила валяться с каким-нибудь романом, курить, стряхивая пепел в вазу на высокой ножке, несколько книжных шкафов и буфет с напитками в графинах: хозяйка не любила бутылки с наклейками. Из кабинета можно было попасть в спальню, гардеробную и ванную, пропахшие табаком и гиацинтом.

Тати не держала фотографий на столе — они были развешаны по стенам: отец и мать в саду — оба в белом, оба в шляпах; отец в компании Сталина, Ворошилова и Тимошенко; сестра Ирина, погибшая в авиакатастрофе над Сибирью; Тарханов в Гурзуфе — в расстегнутой на груди рубашке, смеющийся; генерал дядя Саша с тросточкой, в цилиндре и смокинге, с сигарой в зубах; двадцатилетний Николаша с льняными локонами до плеч; групповая фотография, сделанная на террасе: у ног Тати, сидящей в плетеном кресле, улеглись датские доги, слева на скамеечке пристроились Миньон и Мизер, на узком диванчике справа — пышная София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербстская, гладкая Дуняша и взъерошенная Дереза, а вокруг дети — Борис, Николаша, я, Нинон, надутый Лерик и какая-то тощая высокая девочка в очках, имени которой никто не помнил, все ее называли Александром Исаичем, по-

тому что она гостила в доме на холме в те же дни, что и Солженицын... Его портрет с дарственной надписью висел в углу, рядом с иконой...

Тати встретила меня во всеоружии — она приняла горячий душ, надела шемаханский темно-лиловый халат, расшитый серебряными звездами, подкрасила губы. Взмахнув широкими рукавами, она села в кресло, вставила сигарету в мундштук, пыхнула дымом, взяла чашку с серебряного подноса, пригубила кофе, провела кончиком языка по губам, сказала: «Все будут врать», — и кивнула Нинон, которая ждала у двери. Еще раз кивнула, приглашая меня занять обычное место — кресло у столика, примыкавшего к большому письменному столу.

— Что Варя? — спросила она.

— Ждем, — ответил я. — Врач сказал, недели через две-три...

— Хорошо.

Нинон впустила Сироту и закрыла дверь.

Тати велела налить старику коньяку и заговорила о доме: о металлочерепице, которой нужно бы заменить аспидную, о треснувшем и просевшем фундаменте, о яблонях у забора, которые вымерзли еще прошлой зимой, о флигеле, где настала пора перестилать полы...

От Сироты пахло водкой и потом, а еще обувным кремом: по случаю вызова в Кабинет старик надраил сапоги. Сирота знал Тати девочкой, но никто так ее не

боялся, как он. Для него она была хозяйкой — только так он ее и называл, на вы: «Хозяйка сказали... хозяйка велели...» Когда Тати пришло время рожать, именно он, Сирота, на руках отнес ее к санитарной машине, ждавшей внизу, в поселке. Из-за проливных дождей дорога к осорьинскому дому стала непроезжей, все растерялись, и только Сирота сохранил присутствие духа. Он подхватил подвывающую от страха женщину на руки и двинулся вниз, дыша на Тати водкой, чесноком и дрянным табаком. Маленький, кривоногий, краснорожий, небритый, в кирзовых сапогах, он упрямо топал по раскисшей дороге, сморщившись, как от боли, и надсадно сопя, и Тати потом вспоминала, как боялась, что они упадут, но Сирота как-то умудрялся держаться на ногах, топал и топал, а потом подбежали санитары, подхватили Тати, уложили на носилки, и Сирота сказал: «Пехота не сдается», — и высморкался, и потом Тати вспоминала, что не было тогда для нее ничего восхитительнее во всем белом свете, чем запахи водки, чеснока и дрянного табака...

Тати говорила спокойным голосом, не торопясь, то и дело делая паузы, и Сирота вскоре успокоился, а после второго стакана коньяка стал подавать реплики. Ему не нравилась мысль о замене аспидной черепицы на «мертвечинскую», как он называл металлочерепицу, но с тем, что полы во флигеле пора менять, он был согласен. И вымерзшие яблони надо бы вырубить. И собак завести, потому что сигнализация — это всего-навсе-

го железо, всего-навсего «ржавчина», а собака — это собака. Когда были живы Катон и Ганнибал, никакой чужак не осмелился бы проникнуть в дом и убить девчонку. Это ж надо такому случиться. Она, конечно, тут совсем чужая, но ведь и никакого вреда от нее не было. Что Борис и Илья из-за нее ссорились, так это ничего, мужское дело. Девчонка клейкая, а мужики — они как мухи. Как петухи. Ну не поделили, бывает. Она всем пыталась угодить — и Борису, и Илье, и, кажется, Лерикку. Даже Лизе. Женщинам это, конечно, не нравилось. Особенно Нинон. Она и не скрывала, что девчонка ей не нравится. А какой женщине понравится, когда у нее мужика из-под носа уводят? И Ксения — ей тоже не нравилось, что эта Ольга с Ильей разводит всякий шахер-махер. И с Митькой. Но Митька с ней не церемонился, он вообще с бабами не церемонится: раз, два и хенде хох. Он и этой Ольге сказал: я тебя, сучка, насквозь вижу. Только учти, говорит, тут тебе ничего не обломится. Ты, говорит, для них игрушка. Поиграют, бросят и забудут. Ты для них — инфузория. Они господа, баре, а ты — инфузория. Ты будешь всю жизнь у них полы мыть и детей от них рожать, а так и останешься — нет никто и звать никак. И твои дети — тоже. Они и при царях были господами, и при большевиках, и сейчас они — господа. Дурак он, Митька, заключил Сирота, глядя на пустой стакан. Дурак. А дураки мира не хотят — им счастья подавай.

Но это не они, сказал Сирота, когда я снова налил ему коньяку. Борису зачем ее убивать? Незачем. И Илье. И Лизе. Даже Нинон. Не такие они люди. Даже Митьке это не надо. Да его и не было тут, когда ее убили, Ольгу эту. Его весь день не было, только вечером вернулся.

— Я как раз на крыльце курил, — сказал Сирота, — когда он вернулся. В воротах чуть Лизу не сбил, зараза. Бросил машину у флигеля — и к себе. Сумку тащил...

— А Лиза? — спросила Тати.

— А что Лиза? — Сирота наконец отважился закурить. — Лиза ничего. Домой ушла. Счастливая такая. Улыбалась. Даже не поняла, что Митька ее чуть не сбил. Идет себе двором, улыбается, шуба распахнута... в туфельках... такой мороз, а она в одних туфельках... Я ей рукой помахал, а она и не заметила — ушла... ну я тогда тоже пошел домой, а там она...

— Ольга? — уточнил я.

— Она...

— А машина? — спросила Тати. — На которой Лиза приехала...

— Это Митька приехал, — сказал Сирота. — А Лиза — пешком. Никакой машины не было, кроме Митькиной. — Старик помолчал. — Жалко девчонку. Жила себе, жила — и вдруг на тебе. Как в телевизоре: раз — и убили. Сегодня в новостях показывали — банк ограбили. Налетели, постреляли, деньги схватили и сбежали, а человек убит. Охранник. Курил себе, кино смо-

трел, и вдруг — пуля... как на войне прямо... один убит, другой ранен...

Старик начинал клевать носом, и Тати отпустила его.

Значит, Сирота, который не любил сидеть в своей комнате, вышел после ужина прогуляться, выпил — тайнички с водкой были у него повсюду — и увидел Митю и Лизу.

В поведении Мити не было ничего необычного. Он с детства жил своей жизнью, в которую никого не пускал, держался особняком, избегал мальчишек из поселка. Единственный человек на Жуковой Горе, с которым Митя поддерживал отношения, был Каторжанин, старик Долотов. Никто не знал, как они познакомились и что между ними общего, но их часто видели вдвоем. Впереди брел огромный широкоплечий старик в просторном полотняном костюме, в тубетейке на бритой голове, с заложенными за спину руками, не глядя по сторонам, волоча за собой тяжелую тень, а за ним — тощий Митя, тоже в тубетейке, тоже с заложенными за спину руками. Иногда они сидели на скамейке у реки, под чудо-кленами, листья которых начинали желтеть и краснеть уже в середине лета. Но если Нинон спрашивала сына, о чем с ним разговаривал Каторжанин, Митя только пожимал плечами. После смерти Долотова Митя «сорвался с резьбы», как выразился Сирота. Несколько раз он попадал в милицию за драки, по подозрению в грабежах и кражах, а дело об изнасиловании мало-

летней дурочки из Нижних Домов чуть не обернулось для него тюрьмой. Он ненавидел всех в доме, особенно брата Илью, который в драках всегда одерживал верх над Митей. Впрочем, Митя отказывался считать его братом. Молча выслушав очередную нотацию Нинон, он запирался в своей комнате, единственным украшением которой был подарок Каторжанина — портрет Чернышевского, висевший на стене. После службы в армии Митя устроился автомехаником, стал неплохо зарабатывать, но вскоре поссорился с хозяином сервиса и уволился. Все понимали, что кончит Митя плохо, и радовались разве только тому, что он вдруг помирился с Ильей. В последнее время он работал в какой-то фирме, занимавшейся импортом одежды и обуви. Иногда он надолго пропадал, и никто не знал, где он был и что делал.

Не было ничего удивительного в том, что он поздно вернулся и сразу заперся у себя. А вот поздняя прогулка Лизы — случай экстраординарный. Она вообще не любила выходить за ворота: ее злили сострадательные взгляды прохожих. И для того чтобы выманить Лизу вечером на прогулку — в тридцатиградусный мороз, в легких туфельках на высоком каблуке, нужна была какая-то очень веская причина.

Мы предполагали, что убийство произошло вскоре после ужина. Митя отсутствовал дома весь день, и если это так, то к убийству Ольги он не причастен. Оставалось узнать, где в это время была Лиза и кто это мог бы

подтвердить. И мотивы... Митя мог убить человека «по врожденной склонности», хотя одного этого, конечно, мало. А вот Лизу, какой бы гадюкой она ни казалась, я никак не мог представить в роли убийцы. Когда треснула со страшным звоном эта чертова сосна, Лиза с таким жалобным криком бросилась на грудь Борису...

— А вы знаете, доктор, что Сирота воевал в штрафбате? — спросила вдруг Тати. — Он никогда об этом не рассказывал, но я узнавала: убил жену за измену, попал в тюрьму, а оттуда — в штрафбат...

Тут мне следовало бы удивиться: все знали, что Сирота не способен и мухи обидеть, а он, оказывается, убийца, но вместо этого я рассмеялся — уж очень удачно реплика Тати соответствовала законам жанра, согласно которым «тень подозрения» должна быть брошена на всех персонажей детективной истории.

Тати с улыбкой откинулась на спинку кресла и сказала:

— Пора, наверное, звать Бориса.

Его никогда не называли уменьшительно-ласкательными именами, у него никогда не было прозвищ — все звали его только Борисом. В детстве он, как и Николаша, носил волосы до плеч и был похож на лорда Байрона, но в четырнадцать лет коротко постригся и с тех пор никогда не стремился выделиться среди сверстников внешностью. Тати говорила, что в Борисе есть божественная тяжесть, отличающая христианина

от язычника, тяжесть, которой так не хватало Николаше — его Тати сравнивала с Эросом, богом отважным и бездомным.

Никого не удивляла дружба Бориса с дядей Сашей. Лерик ревновал его к генералу и часто встревал в их разговоры, пытаясь подавить брата эрудицией. Особенно раздражал Лерика консерватизм Бориса, странным образом совпадавший с традиционализмом советской власти, которая к тому времени уже забыла о своем родстве с левым авангардом.

А Борис дразнил Лерика: «С Малевичем и Родченко произошло то же, что и с Троцким, которого убила история, а не Сталин». Революция делается не для революционеров, а для народа, говорил Борис, и побеждает в истории не тот, кто умнее или талантливее, даже не тот, кто прав, а тот, кто нужнее. Сталинизм — идея власти, идея порядка — оказался нужнее, чем нигилизм и вечный бунт. Сталин оказался не только пастырем бытия, как Троцкий, но и господином сущего, и в этом и была его сила, сопоставимая с аморальной мощью самой истории. Отрицание сложившихся форм жизни, безродность, бездомность, роковая свобода — жить этим невозможно. Консерватизм напоминает о хрупкости мира и защищает те извечные рутинные основания бытия, которые позволяют людям жить и воспроизводить жизнь. Авангарду никогда не удастся сбросить Пушкина и Шекспира с корабля современности, сколько бы ни твердили авангардисты о

смерти традиции. В традиции всегда есть то, что мертво, и то, что готово возродиться к новой жизни. Шекспир не мертв — сегодня он говорит с нами о другом, не о том, о чем говорил с нашими отцами, и говорит на языке, которого мы пока, может быть, еще и не понимаем. Традиция жива и безжалостна к слабым дарованиям. Авангардисты оказались слабаками, они оказались бессильны перед тоталитаризмом, потому что не могли противопоставить ему ничего. Да, собственно, в каком-то смысле они, с их мечтами о новой человеческой расе, были химической частью тоталитаризма. Их искусство само по себе — ничто, оно не может существовать без приличного общества, которое позарез необходимо авангардистам, чтобы плевать кому-то в лицо. Они зависят от чужого лица — своего у них нет. Их искусство — всегда «вместо искусства». «Черный квадрат» мертв без иконы, которую он пытается заместить. Это бунт паразитов, бунт рабов — но не против рабства, а против царства. Если нет Шекспира, то все дозволено. Философия авангардизма построена на оскорблении и унижении других, а потому несовместима не только с жизнью презренного обывателя, но с жизнью вообще, с жизнью как таковой. И не случайно же самыми большими авангардистами и революционерами к концу двадцатого века стали буржуа, готовые выкладывать огромные деньги за искусство, оскорбляющее буржуа. Круг комфортабельного нигилизма замкнулся самым естественным образом: рабы, как известно, бессмертны.

— Значит, Панферов и Налбандян? — ядовитым голосом спросил Лерик.

— Значит, Рафаэль и Пушкин, — с холодной улыбкой возразил Борис. — И Эндрю Ньюэлл Уайет, пророк их на земле.

— Твоя любовь к власти была бы аморальной, если бы не была такой естественной, — съязвил Лерик.

Борис только улыбнулся в ответ.

Сколько нам тогда было? Восемнадцать, девятнадцать, может быть, двадцать...

Дело было в гостиной, Борис сидел за роялем и аккомпанировал своим словам, перебирая клавиши, Лерик слушал его, развалившись на диване и презрительно улыбаясь портрету князя Осорьина, который стоял на поле Аустерлица со шпагой в правой руке. Дядя Саша потягивал виски, попыхивая сигарой и с улыбкой прислушиваясь к сумбурным речам Бориса; Тати поглядывала на племянников поверх книги — она в десятый, наверное, раз перечитывала «Le côté de Guermantes»; Николаша шептал что-то на ухо раскрасневшейся Нинон; в кресле у камина постукивала коклюшками Даша...

Я сидел в углу и читал запретного Адамовича:

*Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда? —
Пешкой, по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешкой,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем...*

За окнами бесновалась метель...

Борис побрился, надел домашнюю куртку с атласными лацканами и коротковатыми рукавами, из которых выглядывали манжеты белой рубашки с крупными запонками. От коньяка и кофе он отказался: «Весь день только и делал, что пил».

Сначала пил во время делового обеда, потом на приеме в польском посольстве, а вечером за ужином с Катиш — она была известной актрисой и официальной любовницей Бориса — выпил полбутылки кьянти. Вернулся в начале десятого, перекусил в кухне бутербродами, выпил рюмку водки, поболтал с Нинон. Домоправительница жаловалась на Илью, который морочит голову бедняжке Ксении, а та, дурочка, и рада: верит каждому его слову, хоть и знает, что он пришел к ней из чужой постели...

Тати молчала.

Борис закурил — я залюбовался его красивыми руками и артистичными движениями: открыл портсигар, взял сигарету, щелкнул зажигалкой, выпустил дым, убрал портсигар в карман, закинул ногу на ногу.

— Ее убил кто-то из своих, — сказал он. — Она хотела всем понравиться, пыталась соблазнить всех — меня, Илью, Лерика, доктора, Лизу, Алину, Ксению, Митю... Кажется, и тебя тоже?

Вопрос его был адресован Тати.

Тати не ответила.

— Она мыла ноги Сироте, — продолжал Борис. — Как-то среди ночи я спустился в кухню, они были там.

Сирота сидел на стуле, поставив ноги в таз с горячей водой, а Ольга массировала его лодыжки. Она сидела перед ним на корточках, полуголая, и массировала его лодыжки...

У меня мурашки пробежали по спине, когда я представил себе эту сцену.

— Похоже, ей не удалось соблазнить только Нинон...

— Из-за чего ты поссорился с Ильей? — спросила Тати.

— Не из-за Ольги, — сказал Борис. — Из-за Ксении.

— Из-за Ксении, — задумчиво повторила Тати.

— Кажется, Илья заигрался, дошел до той точки, когда надо сказать девочке, что между ними ничего не было, нет и не может быть. Ксении семнадцать — она это переживет. — Борис поморщился. — Все-таки они брат и сестра... хоть и двоюродные...

Тати кивнула.

— Значит, не из-за Ольги...

— Вчера вечером я с ней разговаривал, — сказал Борис. — Сказал, что она загостилась тут. Пора и честь знать. Я сказал, что мы не против посторонних людей, мы даже не против чужих — мы против людей случайных. Предложил помощь... речь шла о деньгах, конечно... Она все поняла и согласилась. Во всяком случае мне так показалось. Она сказала, что хотела бы остаться до воскресенья. Три дня. Я не стал возражать.

— Почему она поругалась с Алиной?

Борис пожал плечами.

— Я видел их целующимися, а чтобы ругались... впервые слышу...

— Она швырнула в Ольгу синюю вазу... откуда только сила взялась... я помню, как пыхтели рабочие, когда переносили ее в гостиную... втроем тащили... — Тати помолчала. — Она спит?

Борис кивнул.

— Когда-нибудь все равно придется...

— Не сейчас, — сказал Борис.

Тати вздохнула: племянник уже который год откладывал развод с женой, проявляя совершенно не свойственную ему и необъяснимую нерешительность.

Она сменила тему и заговорила о доме. Борис был против частичных ремонтов — он считал, что дом надо реставрировать и реконструировать: «Хватит затыкать дырки и латать прорехи. Нужен капитальный ремонт, а не починка подтекающих кранов». Он даже заказал проект реставрации главного здания и флигеля — речь шла о миллионах долларов — и готов был оплатить работу из своего кармана. Но для этого всей семье пришлось бы на несколько месяцев переехать в московские квартиры — сама эта мысль казалась Тати чуть ли не кошмарной. Ну и, разумеется, пришлось бы вывезти мебель, картины, бумаги, посуду, все те мелочи, которые кажутся нужными здесь, в этом доме, и тотчас утратят всякий смысл, превратятся в мусор, как только их вынесут за порог. Как-то Тати сказала, что ей дороги все

эти глупые безделушки, все эти тени, звуки, запахи, призраки — дух дома, которого не вернуть, когда рабочие починят лестницу, ведущую наверх, и заменят седьмую ступеньку, больше ста лет отзывающуюся невыносимым скрипом, но без этого невыносимого скрипа невозможно представить себе дом, и как жить без этого невыносимого скрипа — Тати не представляла себе...

Борис встал, сунул руку в карман куртки.

— Это было у нее в руке. — Он протянул что-то Тати. — В левой руке.

Это был перстень, снятый с руки князя Осорьина, казненного Иваном Грозным. Этот перстень привез из Константинополя один из полулегендарных предков Осорьиных, который состоял в свите княгини Ольги и был крещен вместе с нею. По преданию, перстень был подарен Осорьину императором Константином Багрянородным. Ценностью он обладал скорее исторической, чем эстетической, но для Тати это грубоватое золотое изделие было частью того «невыносимого скрипа», без которого жизнь утрачивает смысл, поэтому я и не удивился, когда она подняла голову и, глядя на меня в упор, проговорила сквозь зубы:

— А вот за это и я могла бы убить...

Резко встала и вышла в спальню.

Однажды Тати сказала, что она знает обо всем, что происходит в доме, а Нинон — обо всем, что происходит в доме на самом деле. Нинон никогда не подслуши-

вала и не подглядывала: простыни, полотенца, носовые платки, халаты, манжеты и воротники рубашек, бокалы с остатками вина или окурки в пепельнице часто бывают болтливее и красноречивее людей. Если Тати была осью осорьинского мира, то Нинон — главным колесом, приводившим в движение осорьинский механизм, воплощением порядка, его знаменем и оградой. Статная, спокойная и твердая, она никогда не повышала голос, но всегда добивалась своего, умудряясь при этом держаться в тени. В юности она влюбилась без памяти в Николашу, а счастье нашла в любви к Борису, хотя и знала о его любовницах, официальных и неофициальных. Она презирала Алину, но и жалела несчастную алкоголичку, и случалось, что ночами просиживала у ее постели, когда Алина приходила в себя после очередной попытки самоубийства: несколько раз жена Бориса пыталась покончить с собой, перерезая вены на руке, но ее успевали спасти. Нинон была наследственным членом семьи, хранительницей ее тайн, «идеальной рабыней», как однажды с презрением выразился Митя, а Тати как-то назвала ее «сестрой». Для яда и меда осорьинской жизни она была таким же сосудом, что и сами Осорьины.

Лишь однажды преданность Нинон была поколеблена, и Осорьины тогда чуть не лишились домоправительницы. Это случилось года через три-четыре после того, как Нинон родила Ксению, а Борис запутался в любовницах. В больнице, куда она попала с аппендицитом, Нинон познакомилась с доктором Паутовым,

могучим красавцем и вдовцом. Он стал бывать в Доме двенадцати всадников и вскоре сделал Нинон предложение. И она ответила согласием, решив, как сказала потом язвительная Тати, свить свое гнездо, а не ухаживать всю жизнь за чужим. Но тут доктора Паутова отправили в Чечню, где он на третий день и погиб, и Нинон вернулась к своим обязанностям в осорьинском доме. Борис порвал со всеми любовницами, и на несколько лет Нинон стала его единственной женщиной.

Тати вернулась в кабинет посвежевшая, умиротворенная, опустилась в кресло.

— Значит, она успела и вас соблазнить, доктор...

— Не успела, — сказал я. — Времени не хватило.

Она вставила сигарету в мундштук, прикурила и проговорила:

— Не был он у Катиш: она вот уже недели две гостит у Лаврушки. Я вчера с ней разговаривала.

Речь шла, конечно, о Борисе.

Лаврушкой друзья звали прабабушку Катиш — Лауру Сергеевну Кутепову, в девичестве ди Стефано Нели, вдову известного советского физика-ядерщика, с которым дружил отец Тати — Дмитрий Николаевич. В последние годы Лаврушка жила неподалеку от Флоренции, в деревушке, где были похоронены семнадцать поколений ее предков, и иногда звонила Тати.

— И ведь он знает, что я это знаю, — Тати скривилась, отхлебнув из чашки. — Надо сказать Нинон, чтоб заварила свежего...

Я открыл дверь в Конюшню и чуть не столкнулся с Нинон, которая держала в руках поднос с кофейником. Она прошла в кабинет, обдав меня запахом свежего тела, налила в чашки кофе, села на стул у окна — Нинон никогда не садилась в кресла — и сказала:

— После ужина я ее не видела.

— Ты ведь не сразу пошла к себе...

— Перемыли посуду, приготовили белье для отправки в прачечную, а потом я проводила Варвару до дома... хотелось подышать свежим воздухом... Когда я вернулась, Борис ужинал в кухне, мы поболтали...

— Он приехал на машине или пришел пешком?

Нинон не удивилась вопросу.

— На машине. Я заглянула в гараж... его машина была там, и капот еще не остыл...

Тати выжидательно молчала.

— У него появилась новая женщина, — бесстрастным тоном продолжала Нинон. — Варвара сказала, что он снял дом в поселке... в самом низу, у ограды...

— И кто она?

— Вы же видели, как она бросилась ему на грудь... все видели...

Она говорила о Лизе, конечно, о немой сцене в прихожей, где Осорбины собрались вокруг тела Ольги. Испугавшись внезапного звука лопнувшей на морозе

сосны, Лиза с жалобным криком бросилась Борису на грудь. Она пропустила ужин. Сирота видел ее, когда Лиза возвращалась домой — в шубе нараспашку, в легких туфельках на каблуках. Похоже, Нинон считала, что Борис снял квартиру в Нижних Домах, чтобы встретиться с Лизой. Но если уж он не хотел, чтобы об этой связи узнала Тати, которая, как многие думали, хотела выдать Лизу за Илью, то в Москве у Бориса была роскошная квартира, которая пустовала неделями и идеально подходила для свиданий. Зачем же встречаться здесь, в поселке, где Бориса знает каждая собака? И потом, Лиза совсем не в его вкусе: все женщины Бориса, которых я видел, были сильными здоровыми самками вроде Нинон.

— Нет, — сказала Тати, — Борис не позволил бы женщине возвращаться домой по такому морозу в туфельках. Сам на машине, а она пешком? Нет.

— Но дом арендовал он...

Тати посмотрела на меня.

— Варя ничего мне об этом не говорила, — сказал я.

— Нет, — повторила Тати, стукнув дном чашки о поднос. — Не знаю, смог ли бы он убить, но бросить женщину на морозе — нет, не мог.

Я с трудом удержался от улыбки.

Нинон промолчала.

— Ну хорошо, — сказала Тати. — А дальше? Ты болтала в кухне с Борисом, а потом?

— Заглянула к Лерику... иногда по вечерам я захожу к нему, и мы разговариваем... ему не с кем поговорить, Тати...

— Поговорить?

Нинон кивнула.

— Он ведь из-за этой девчонки совсем с ума сошел... понапридумывал себе... — Нинон тяжело вздохнула. — Господи, он сказал, что любит ее... плакал...

Тати мрачно молчала.

— Жалко его, Тати, — сказала Нинон. — Он всегда один. Как это получилось? Почему? В детстве — один, одна жена, другая, третья — а он все равно один... все его не понимают, все его обижают, никто его не ценит... в Бога он не верит, с людьми не сходится... так ведь и до беды недалеко... выдумает что-нибудь и такое сделает, что боже мой... а остановить некому... ты же сама говорила, что одинокий человек открыт злу... а Лерик — выдумщик, ты сама знаешь, страшный выдумщик... помнишь, как он выдумал, будто на него бандиты напали? Никто ведь не нападал, и никто ему не верил, все смеялись, он от обиды взял и ножом себя пырнул, а потом говорил, что это бандиты сделали...

Я помнил эту историю: Лерику всегда хотелось внимания.

— Беда с ним давно случилась, — пробормотала Тати. — Я уже устала думать, в чем виновата я, а в чем — не я...

— Сам он виноват, — сказала Нинон. — Вот и сейчас — выдумал себе про эту Ольгу: она моя единственная, она моя настоящая, она моя последняя... Я чуть не разревелась, слушая его. Да на эту девку только посмотришь — и все сразу ясно. Она ж любого с костями сожрет и не подавится. Ее в землю закопай — она станет покойников жрать. А он говорит: женюсь...

— Женюсь?

Нинон зло фыркнула.

— Да она была готова хоть за Сироту выйти, лишь бы здесь остаться! Я пыталась ее прогнать, но разве Илью убедишь? Сама знаешь: пока игрушка не сломается, Илья не остановится. Вот и доигрались... — Нинон встала. — Кого позвать?

— Все равно, — сказала Тати. — Кто на глаза попадется, того и зови.

Нинон быстро вышла.

— Женюсь, — прошептала Тати. — Лерик ты мой, Лерик...

Я думал не о Лерике — о Нинон. К чужакам она всегда была нетерпимее, чем Осорьины. И я был уверен, что, если бы в доме произошло убийство и на семейном совете было решено спрятать тело, преданная Нинон сделала бы это без колебаний, а потом молчала бы как стена. Но представить ее в роли убийцы я не мог. Я никого не мог представить в роли убийцы.

— Мы сегодня даже не трахались, — сказал Илья. — То есть вчера. Мы вчера даже не трахались. — Он налил себе коньяку, выпил, снова налил. — Собирались в «Пулю», но за ужином я перебрал, и «Пулю» пришлось отменить...

Ночной клуб «Пуля-дура» был недавним открытием Илья.

— Она, кажется, не очень-то и расстроилась, — продолжал он, закуривая. — После ужина поднялись ко мне, но толку от меня не было никакого, так что... — Выпил. — А теперь задавайте ваши вопросы, мисс Марпл!

— И куда же она отправилась? — без улыбки спросила Тати.

— Куда-то... не знаю...

Илья пьяно ухмыльнулся и мельком взглянул на меня — это был взгляд совершенно трезвого человека, холодный и настороженный. Я чувствовал себя неловко в этой игре, затеянной Тати, и мне стало еще тошнее, когда я почувствовал, что Илья это понимает.

— И что ты думаешь обо всем этом? — спросила Тати.

— Об убийстве?

— Обо всем.

— Обо всем... — Илья сделал паузу. — Мы договорились, что я познакомлю ее со Стасом Грановским... он продюсер, я как-то рассказывал о нем: лихой, удачливый... может быть, у него нашлось бы что-нибудь для нее... сварить кофе, станцевать в каком-нибудь клипе,

украсть миллион, выйти замуж за далай-ламу... не знаю... рецепт проверенный: если Бога нет, то все позволено... но вообще-то... — он подался вперед, погасил сигарету в пепельнице. — Вообще-то в ней было что-то... что-то очень натуральное... что-то сильное... — Помолчал. — Проституткой она, конечно, не была — я это в первую же ночь понял: слишком много настоящей страсти. Неотесанная, вульгарная, интеллектуально невинная, но — живая. Не кукла. Чтобы стать собой, ей не нужен был стакан водки: большая редкость среди девушек такого сорта, уж поверь...

— Чего она хотела? То есть — чего хотела на самом деле?

— Это вопрос к Богу, не ко мне. — Илья снова выпил и закурил. — Но дело было, мне кажется, не в деньгах. Все это... деньги, машины, камешки, меха и все такое... нет, от всего этого она, конечно же, не отказалась бы ни за что... но не это было для нее самым-самым, было и что-то другое...

Тати подняла бровь.

— Нет уж, нет уж, сдаюсь! — Илья поднял руки. — Не знаю. Просто — что-то другое. Это интуиция. Всего-навсего — интуиция. Наверное, ей хотелось другой жизни, но что это такое — другая жизнь, она не понимала, и вот попала сюда, к нам, и поняла: вот оно, это и есть другая жизнь, иная... этот дом, часы с боем, тени, запахи, соль на столе... эти портреты... камзолы, треуголки, шляпы, шпаги и знамена, честь и слава, две-

надцать всадников, гвардия умирает, но не сдается, держать строй... и прочее бла-бла-бла... ну, в общем, все то, что и ты считаешь настоящей жизнью... — Он широко улыбнулся бабушке. — Не обижайся.

— На дураков не обижаются, — сказала Тати.

— Ей все это шибануло в голову, — сказал Илья. —

Этот напиток оказался для нее слишком крепким.

— Но убил ее не этот напиток, — сказала Тати.

— Как сказать...

Тати нахмурилась.

— Прости, — сказал Илья. — Любая игра непредсказуема, а люди смертны. Что я еще забыл? Дважды два — четыре, Земля вращается вокруг Солнца...

— Убийство совершил кто-то из своих, — проговорила Тати. — Вообрази на минутку, что это сделал кто-то... ну, скажем, Ксения... или, например, Лиза... Борис или Нинон...

— Я понимаю, о чем ты. — Илья покачал головой. — Нет, нет, нет и нет. Лиза гораздо лучше, чем о ней думают. Гораздо глубже, сложнее, интереснее... гораздо человечнее, если угодно...

Он рассмеялся, заметив мою гримасу.

— Да, доктор, человечнее! Понимаю: слово не из моего лексикона, слово дурацкое, но уж вырвалось так вырвалось... — Он повернулся к Тати. — Убийца среди нас — это пошлое название для пошлой пьесы, Тати!

— Хотим мы того или нет, но всем нам придется участвовать в этом спектакле.

Голос Тати был холоден и сух.

— Ну да... — Илья выпил. — Когда я понял, что эта игра может завести всех нас очень далеко, я решил с этим покончить...

— Ты понял?

— Считаю это озарением. — Илья улыбнулся. — Она обсуждала с Ксенией цвет штор для гостиной... голубые или зеленые, шелк или тафта, ламбрекены и портьеры... что-то вроде этого... и тогда я вдруг понял, что она входит в роль... роль своей, роль члена семьи... думаю, раньше она и слова такого не слыхала — ламбрекен... игра, конечно, но... в общем, мне стало скучно — невыносимо скучно... брюнетки наводят на меня тоску: они рождаются старыми суками... а Ольга... Ну ведь не замуж ее брать! А в каком еще качестве она могла бы тут остаться? Вот и...

— Ей-богу, если бы ты на ней женился, — сказала Тати, — я испытала бы облегчение.

— Не кощунствуй, Тати!

— Когда же ты очухаешься наконец, Илья... — В голосе Тати было больше грусти, чем отчаяния. — Летишь, летишь... легкий, как ложь...

— О да! — Илья встал. — Легкие люди легки злу! Но я не Гамлет, я другой! Другой — это и есть настоящий я. Черт, я, кажется, впадаю в Хайдеггера... или в Бубера?

Он налил себе коньяку, подмигнул мне, выпил и поклонился Тати.

— Пошел вон, — сказала Тати беззлобно. — Вот засадят тебя в тюрьму...

Илья погрозил ей пальцем и вышел.

— Это не он, — устало сказала Тати. — Не он, черт бы побрал этого шалопая. Сколько лет ищу в нем косточку, а нащупать никак не могу...

Гамлета наш Илья помянул не случайно. Подростком он вдруг сблизился с Лериком, который тогда в очередной раз женился, бросил пить, перестал винить в своих неудачах коллег по сцене — «взялся за остатки ума», как выражалась домоправительница Даша. Ему дали роль в «Гамлете» — кажется, Гильденстерна. Ничего более значительного в его карьере не было, у него появился шанс, и Лерик старательно вживался в образ, каждую свободную минуту посвящая Шекспиру. Илья с энтузиазмом помогал Лерику, подавая реплики за Гамлета и Гертруду, за Полония и Офелию.

Тогда-то Илья и узнал о том, что его отец — Николаша — умер от передозировки метаквалона. А принес ему эти таблетки сын — Илья. Он был мал и, разумеется, не понимал, что делает. Мать дала ему коробочку, которую Илья и отнес отцу. Николаша тогда пил, ссорился с Тати, Алиной и Нинон. Тем летом он переселился в беседку — от дома ее закрывали пышные кусты жасмина. Он принял таблетки, которые принес сын, запил вином и лег на тахту. Когда отец затих, Илья ушел. Вот и вся история.

Лерик превратил эту историю в шекспировскую трагедию. Наконец-то у него появился слушатель. Внимательный и умный слушатель, который сыграл зловещую роль в этой истории, пусть и не догадываясь об этом. Ребенок стал слепым орудием в руках людей, замысливших преступление. Они хотели избавиться от молодого короля, талантливого и беспечного красавца, и Илья помог им в осуществлении гнусного замысла. Метаквалон. Седативно-гипнотическое вещество, успокаивающее, снотворное и противосудорожное средство. Быстро всасывается, в печени расщепляется почти полностью. По снотворному эффекту не уступает барбитуратам. В те годы его называли еще «дискоотечным бисквитом». В больших дозах очень токсичен, особенно в сочетании с алкоголем. А Николаша запивал его вином. Много вина и много метаквалона. Клавдий и Гертруда дали эту дрянь ничего не подозревавшему малышу, и он отнес ее отцу. Николаша умер. Всеобщий любимец, красавец, умница, надежда русской литературы — умер. Негодяй Клавдий женился на порочной вдове, и зло восторжествовало...

Не думаю, что Лерик хотел настроить Илью против Бориса и Алины. Конечно, его сызмальства раздражали властность и высокомерие брата, бесила его самоуверенность, а его манеры, умение одеваться и успех у женщин вызывали зависть. Алина в те годы была еще очень хороша, и Лерик часто с тоской поглядывал на ее стройные ножки и высокую грудь. Ему не везло в браке,

а донжуаном он был никудышным: приходящая прислуга — вот и вся его добыча, и вдобавок деньги на этих женщин ему приходилось клянчить у матери. А тоскливый и постыдный роман с горбатой стареющей истеричкой из Нижних Домов сделал его посмешищем для всей Жуковой Горы. Наверное, ему хотелось выместить свои неудачи на Борисе и Алине, но по природе своей он был слабым и трусоватым человеком, боявшимся той страшной силы, которую дает людям зло. В случае с Ильей он просто заигрался, увлекся образом — образом проницательного сыщика, пессимиста, циника, снисходительного мудрого друга — и действовал наобум, на авось, по-хлестаковски, фантазируя и не задумываясь о последствиях: ему так хотелось быть героем в глазах подростка...

Но он недооценил этого пятнадцатилетнего мальчика. Не замечал — не хотел замечать — иронии в словах Ильи, в выражении его лица и глаз. И пропустил тот миг, когда Илья почувствовал пресыщение. Он поиграл с Лериком, и вот игра наскучила ему. Он наигрался. Ему надоела вся эта история с метакваллоном, Клавдием и Гертрудой, он больше не мог выносить этот пафос Лерика, то захлебывавшегося, то подвываявшего, его тошнило от театральщины, от Шекспира, его тошнило от Лерика.

И однажды Илья не выдержал.

— Да мне по фигу, — сказал он Лерику, когда тот в очередной раз, понизив голос, принялся плести исто-

рию о преступлении без наказания. — Просто — по фигу. Сыт по горло. Хватит. Гамлет, Клавдий, метаквалон... да мне все равно, понимаешь? Ну зло, ну добро, ну идеи все эти — и что? Мне-то — что? Зачем мы живем? Да чтобы жить. Я не Гамлет и не хочу им быть. Мир лежит во зле, удар шпаги, жертва, возмездие, судьба... ты хоть себя-то слышишь? Кому ты голову морочишь? Мне? Меня ты этим не заморочишь. Себе? Ну, значит, ты... ты даже не чужак, Лерик, ты — пустое место, мнимость. Ни света от тебя, ни жара. Живешь как под кайфом. Придумал себе этот кайф — и балдеешь. Ну и балдей, а я — пас. — Он встал и хлопнул дядю по плечу. — Не обижайся, ладно? Я ведь тебе не нужен, правда? Я ведь живой человек, а тебе живые люди не нужны, они для тебя опасны. С мертвецами тебе будет уютнее. Мертвецы вообще выгодный товар. С ними ты найдешь и блаженство, и сверхблаженство. — Наклонился к дяде и проговорил страшным актерским шепотом: — На колпачке фортуны ты не шишка!

Подмигнул Лерику и ушел.

В тот же день Лерик запил, вскоре его сняли с роли, жена ушла от него, и он вернулся к водке, нитью, к проходящей прислуге, к горбатой стареющей истеричке из Нижних Домов, к великому роману, который должен перевернуть русскую литературу и обессмертить имя автора.

Но я — об Илье...

Разбирая недавно старые бумаги, я наткнулся на записку, сделанную моей рукой и относящуюся именно к тем дням, когда между Лериком и Ильей случился разрыв: «Мы связаны с миром гораздо теснее, чем кажется. То, что обычно подразумевают под единством души, на самом деле — подвижная граница между мной и миром. Я не могу наполнить собой мир, это как раз то, что пытается сделать человек без традиции, и безуспешно. Но я не могу и позволить миру меня затопить, хотя это и возможно, и случается постоянно, и называется бредом, онтологической возможностью феномена бреда, когда теряется различие между мной и миром, и в этом и заключается правда бреда — правда, а не выдумка больного...»

Именно этим и занимался всю жизнь Илья — пытался заполнить собой мир, как будто боясь, что мир затопит его. Его жизнь была границей между явью и бредом: гоночные автомобили, прыжки с водопадов, купание с крокодилами, русская рулетка, женщины, ночные клубы...

Отношения его с дядей, впрочем, наладились. Из первой своей поездки в Европу Илья привез Лерика в подарок бутылку ирландского виски, попросил прощения, Лерик растрогался и разрыдался на груди у племянника. Они напились и сошлись на том, что поиск смысла и внесение смысла в жизнь слишком часто смешиваются, оборачиваясь то Освенцимом, то ГУЛАГом, и лучше всегда виски пить, а свету провалиться...

Попыхивая сигаретой и посмеиваясь, Илья говорил: «Ну как же нет у меня ничего святого? Да сколько угодно! Просто я не могу и не умею любить жизнь прежде смысла ее, жизнь вообще — это слишком абстрактно, мне для этого живой человек нужен, например, с красивыми ножками или глазками. Вот Ксюша, скажем. Да если потребуется, я за нее умру не задумываясь! Да за ее глазки и за ее ножки — хоть сейчас!»

Ксения краснела и млела от счастья, хотя и знала, что Илюша через минуту то же самое может сказать Лизе, или Нинон, или Тати, или собаке Павлова, или кому угодно, черт бы его побрал, этого шалопаю...

Илья был всеобщим любимцем. Он умел находить общий язык со святыми и подонками, с аристократами и бродягами, с генералами и проститутками. Даже Митя, ненавидевший всех Осорьиных и все осорьинское, делал для Ильи исключение. Летом они, Илья и Митя, гоняли на мощных мотоциклах по окрестным дорогам, а когда Митя разбил мотоцикл, Илья подарил ему машину, которую выиграл в лотерею. «Отчаянный парень, — говорил Митя. — Мужик».

Иногда вечерами Лерик, Митя, Илья и Сирота пили пиво на лавочках за флигелем, где старенькая Даша любила сидеть в кресле-качалке с вязаньем. Подвыпивший Сирота вспоминал прежние времена и ругал нынешние: «Какую страну погубили! А теперь вот народ добивают...» Даша качала головой: «Не добьют. Мы ведь — как трава. По нам пройдут — мы встанем

и будем жить. Они уйдут, а мы останемся. Траву при-
мнешь, но сломать — не сломаешь...»

Илья слушал ее молча, с улыбкой, но как-то сказал мне: «Вот эта травяная философия пугает меня больше любых русских бунтов».

Однажды Илья уехал надолго. Вернулся месяца че-
рез три — веселый, загорелый, чуть пьяный, с бразиль-
ской сигарой в зубах, подарил Лерику бутылку кашасы,
а Сироте — бутылку агаурденте, колумбийской водки.
Илья помалкивал, уходил от вопросов, но мало-помалу
разговорился, и выяснилось, что эти три месяца он про-
вел в партизанском отряде — судя по намекам, в Ко-
лумбии.

— Искал идеи? — спросил я шутивым тоном.

— А нашел бедность, — сказал Илья. — Они не
против капитализма и даже не за свободу — они сра-
жаются за свое место у прилавка. У того же самого при-
лавка, на дальнем конце которого мы спрашиваем лоб-
бовские туфли и черную икру. Разница на самом деле
невелика.

Вечером сел в машину и умчался в «Пулю».

Лерик не врал, когда рассказывал об отце — о Кон-
стантине Тарханове, который пустил себе пулю в рот,
держа сына за руку. Так оно и было.

Тарханов был измучен и раздавлен. Чуть не каж-
дый день он получал письма от людей, которые вышли
из лагерей, куда попали по его воле, чуть не каждый

день слышал обвинения — «ирод, палач» — от тех, чьи родные и близкие сгинули по его вине в ГУЛАГе. У него не сложились отношения с Хрущевым, который однажды с трибуны назвал Тарханова «сталинистом». Ему пришлось уничтожить рукопись романа, в котором рассказывалось о борьбе передовых рабочих и инженеров с вредителями: выяснилось, что дело против вредителей было сфабриковано, невинных людей оправдали, и писать было не о чем. Он почти не выходил за ворота усадьбы на Жуковой Горе: люди сторонились его, а при встрече отводили глаза. У него не осталось друзей. Он пил без просыху, плакал и снова пил. Пытался работать, исписывал сотни страниц, но потом рвал, жег, пил и плакал. Огромный, всклокоченный, небритый, в грязном халате, босой, он бродил по дому, иногда вдруг замирал, уставившись в пустоту, проводил дрожащей рукой по волосам — и брел дальше, пошатываясь, хрипло дыша, бормоча: «Пора собираться... Светает... Пора бы и двигаться в путь... Две медных монеты на веки... Скрещенные руки на грудь...»

Тати плакала, но все ее попытки вернуть его к жизни заканчивались ничем.

Ее не было дома, когда это случилось.

Лерик играл на полу в кабинете Тарханова. Отец мрачно курил за столом. Перед ним стояла бутылка. Пробили часы. Тарханов вдруг с глубоким вздохом перекрестился, подозвал сына, взял его за руку, крепко сжал, отвернулся и выстрелил себе в рот из пистолета.

Тати нашла Лерика спящим. Даша шепотом рассказала, что когда она и Сирота прибежали на звук выстрела, все было кончено: Тарханов свешивался с кресла, а Лерик стоял рядом, лицо его было забрызгано кровью, он весь дрожал и не мог высвободить свою руку из руки мертвеца. Сироте с трудом удалось разжать пальцы, и Даша унесла Лерика. Позже, когда ребенок пришел в себя, он несколько раз повторил: «У Бога нет рук» — это были последние слова Тарханова. Никто так и не понял, что хотел он этим сказать, держа сына за руку и засовывая ствол пистолета в рот...

Тати прощала Лерику любую выходку. Он много читал, плохо сходился со сверстниками и был необыкновенно влюбчивым. Влюблялся в книги, в женщин, в картины, в собак — вспыхивал, доходил до обожания, но вскоре остывал. Не разочаровывался, а именно остывал. Сегодня он — великий дрессировщик, пытающийся научить Катона и Ганнибала складывать из букв слова, завтра — капитан «Наутилуса», а послезавтра — полупомешанный влюбленный, жизни не представляющий без девочки с огромными бантами в прическе, которая каждый день гуляла с няней у подножия холма. Он пытался собирать коллекции марок, спичечных этикеток, монет, но все бросал на полдороге. Его тетради и блокноты были заполнены цитатами из Лабрюйера и Достоевского, Платона и Бердяева — цитаты, цитаты, тысячи цитат. Покойного отца он сначала боялся, потом возненавидел, потом полюбил, болезненно откликаясь на

язвительные выпады Ильи в адрес писателя Тарханова и его книг, наконец — привык, смирился, забыл, осталась только *потная ледяная рука* самоубийцы — о ней Лерик вспоминал в критические минуты, когда терпеть попреки уже не было никаких сил...

В любви ему не везло. Стоило ему положить глаз на какую-нибудь хорошенькую девочку, как ее уводили у него из-под носа. Лет в тринадцать-четырнадцать он влюбился в женщину, которая была старше его лет на двадцать. Она жила в Нижних Домах, давала частные уроки музыки и считалась хорошим педагогом. Лерик сблизился с ее мужем, обаятельным и умным человеком, который носил широкополую шляпу, черные очки с круглыми стеклами, как у Джона Леннона, и длинный шарф. Он научил Лерика понимать Томаса Манна, додекафоническую музыку и Казимира Малевича, и Лерик обзавелся широкополой шляпой, черными очками и длинным шарфом — пухлый мальчик в этом наряде выглядел комично. Неизвестно, во что вылились бы эти отношения, если бы обаятельного друга Лерика не арестовали за растление малолетних.

Первый раз Лерик женился, еще будучи студентом театральной школы. Этот брак распался через полгода, когда он узнал, что жена изменяет ему направо и налево. Скоротечным был и его второй брак. А вот третьей жене — все звали ее Мартышкой — удалось то, что не удавалось еще никому: она изменила жизнь Лерика и при этом умудрилась понравиться Тати и Нинон.

Рыжеволосая, курносая, конопатая и зеленоглазая, Мартышка с утра до вечера напевала, подметала, стирала, помогала Нинон стирать и убирать, тормошила Лерика, играла в карты с Тати, бегала наперегонки с псами, возилась с цветами, стреляла из лука, играла в бадминтон. А как она хохотала, налегая грудью на стол! А как слушала мужа, когда он вечером в гостиной принимался разглагольствовать об искусстве!

Лерик почти перестал пить, похудел, сменил прическу, стал носить цветастые жилеты и приохотился к трубке, отказавшись от крепких сигарет, которые вызвали у него судорожный кашель. Он наконец решил «выйти из тени» и послал несколько своих рукописей в издательства и литературные журналы. Ему всюду отказывали, но это его, как ни странно, не очень сильно расстраивало: в запасе у Лерика было множество историй о гениях, которым издатели отказывали, а потом локти кусали, жалея об упущенных шедеврах. Если что и огорчало его, так это слово «нечитабельно», встречавшееся почти в каждом отзыве.

Однажды он не выдержал и решил ответить на письмо, в котором его упрекали в пренебрежении к читателю.

Он собрал нас у себя в комнате. Мартышка устроилась на ковре у его ног, в окружении обожавших ее Софии Августы Фредерики фон Анхальт-Цербстской, Дуняши и узкоглазой Дерезы, мы с Ильей расположились в креслах, и Лерик приступил к чтению.

Письмо было очень длинным, оно сохранилось у меня, приведу небольшой характерный отрывок из него: «Читабельность литературного произведения, друзья мои, так же не имеет касательства к его достоинствам и провалам, как практическая пригодность научной теории — к ее истинности. Мореплаватели древности замечательно прокладывали маршруты по картам, начертанным в память о Птолемеи, и разрыв с александрийской трактовкой космоса был вызван не нуждами средств сообщения, но потребностью в новой гармонии сфер. Ошибочно полагать, будто настоящая литература создается для читателя. Читатель отнюдь не ниспослан ей в качестве цели и вождя соборника, ему разве что дозволяется поживиться плодами ее. Спешу подчеркнуть, что тезис о независимости текста от публики толкуется мною не как надменное отрешение от читателя, а в ином, более глубоком и точном смысле. Произведение пишется не затем, чтобы угодить или не угодить читателю, но во исполнение задач, поставленных перед произведением. Поставленных не автором, потому что текст, я уверен, творится не волею сочинителя, а самосоздается в процессе сожителства с автором...» и т. д., и т. п.

Лерик читал стоя, чуть откинув голову вбок и от волнения полуприкрыв правый глаз. Мартышка смотрела на него снизу вверх с таким восхищением, с такой любовью, что нам с Ильей не оставалось ничего другого, как кивать и помалкивать в тряпочку.

Когда чтение закончилось, Илья посоветовал подумать об уместности выражений вроде «отнюдь не ниспослан» и заменить «спешу подчеркнуть» на «хотелось бы подчеркнуть», а я промямлил что-то о «надменном отрешении».

Лерик был тронут нашей доброжелательностью и обещал подумать.

Когда мы вышли из его комнаты, Илья пробормотал: «Когда-нибудь пробьется. В литературе лериков все больше».

А через месяц Мартышка погибла.

Это была страшная и темная история.

Ее тело нашли в каком-то грязном притоне в районе площади Трех вокзалов. Она была зарублена топором. В соседней комнате были обнаружены трупы старухи и младенца.

Борис пустил в ход свои связи, и вскоре выяснилось, что Мартышка хотела тайком от всех обзавестись ребенком. У Лерика не могло быть детей, и его жене пришла в голову мысль о приемном ребенке. Но вместо того чтобы обратиться в детский дом, она каким-то образом связалась с торговцами живым товаром, пришла на встречу с деньгами и была убита. Кто ее убил и почему, чей был младенец, какое отношение к нему имела старуха — этого узнать так и не удалось. Жизнь в Москве тогда напоминала бушующий хаос, в котором без следа пропадали люди, и смерть Мартышки, младенца и старухи в грязном привокзальном притоне смешалась

с другими смертями и растворилась в этом страшном хаосе...

Лерик, бедный Лерик...

Говорят, горести расширяют наши сердца, но это не про него: его сердце было отравлено горестями.

Месяца через два он сменил театр, выбросил цветастые жилеты и трубку, вернулся к крепким сигаретам, к своему великому роману и воспоминаниям о детском спектакле, в финале которого он самозабвенно и звонко кричал «ку-ка-ре-ку», кричал так вдохновенно, так гениально, как ни до него, ни после не удавалось кричать никому в русском театре...

Собираясь на допрос, Лерик сбрил бакенбарды *mutton chops*. Он отращивал их несколько недель, старательно подбривая и подстригая, пока не стал похож на какого-то персонажа из Боклевского — то ли на Ноздрева, то ли на оплывшего Собакевича. Лиза говорила, что именно так и должен был выглядеть черт, явившийся Ивану Карамазову. А старенькая Даша смеялась: «Барбосисто получилось! Гроза! Настоящий околоточный, прям с картинки!» Особенно неприятное впечатление производили его вислые влажные пухлые губы и безвольный подбородок, окруженные густой растительностью. Все эти сравнения Лерик, однако, с горячностью отвергал, утверждая, что бакенбарды придают ему «классический вид».

Его одутловатое лицо было потным и почти багровым. Нинон как-то сказала, что может запросто определить степень его опьянения по цвету лица, и Лерик бросился доказывать, что водка тут ни при чем, а все дело в эритроцитозе, а может быть, даже в ацетонемии, вызывающих гиперемию кожи: он любил находить у себя разные болезни, страдать и требовать сострадания. «Ну что ж, — с невозмутимым видом сказала Нинон. — Значит, гиперемия. Сегодня ты выпил примерно двести... или двести пятьдесят... не больше...» С той поры, когда речь заходила о пьянстве Лерика, в доме говорили: «Сегодня у него гиперемия».

— Тебе ведь нравилась Ольга, Лерик? — спросила Тати, скрывая выражение лица за клубами табачного дыма.

— Да, — сказал Лерик, покосившись на графин с коньяком. — Нинон, наверное, тебе уже проболталась... что я жениться хотел...

— Проболталась.

— Хотел, — сказал Лерик с оттенком вызова в голосе.

Тати бросила на меня красноречивый взгляд — я налил Лерику коньяку.

— Хотел, — повторил Лерик, выпив рюмку. — Смешно, правда? И мне смешно. Встретился с ней, поговорил... к дубу сходили... к болконскому...

— В такой-то мороз...

— И в такой мороз! — подхватил Лерик, воодушевляясь. — И сходили!

Этот дуб рос неподалеку от дома, за поселковой оградой, и было ему, наверное, лет триста-четыре — огромное раскидистое дерево, под которым влюбленные из поколения в поколение назначали свидания.

— Сходили, — повторил Лерик, наливая себе из графина. — Так, ничего особенного. Мороз, ночь, звезды — ничего особенного. И не говорили ничего такого... ничего особенного... а когда вернулись, я вдруг подумал... жаль Мартышку...

Тати напряглась, но Лерик не стал плакать: снова налил и снова выпил.

— И Мартышку жалко, и всех жалко... всех-всех — жалко, просто жалко... себя стало жалко, вот что... жизнь к закату, а что я? где я? Ничто и нигде. Всю жизнь мечтал, думал, стану великим актером, великим писателем, великим... великим шпионом, черт побери... и кем стал? Пью и вру, вру и пью... и сижу на шее у матери и брата... хнычу и мечтаю... себя жалею... все виноваты, один я такой замечательный, и никто меня не понимает... а на самом-то деле — никто и ничто... а такие надежды подавал... всего «Евгения Онегина» наизусть знал, шестизначные числа в уме умножал... да кому — ну кому это надо? Вам? Мне? Никому...

Он перевел дух и выпил.

— И все это ты сказал Ольге? — осторожно спросила Тати.

— И сказал! — Лерик мотнул головой. — Как в омут головой — взял и сказал. Потому что я вдруг понял, мама... — он наклонился вперед и понизил голос. — Если не сейчас, то никогда. Ни-ког-да. — Откинулся на спинку кресла. — Знаю я все, что вы сейчас скажете: мол, и шалава она, и хабалка она, и вообще... я понимаю... Ну и черт со всем этим! Наплевать. — Помолчал. — Я решил... я думал: уедем куда-нибудь, снимем квартиру, днем буду валенками торговать на рынке, а вечерами — писать, писать... черт с ним, с театром, не получилось — ну и ладно...

— Валенками?

— Или вениками. — Лерик пьяно махнул рукой. — На жизнь хватит. А мне много не надо...

— И ты все это сказал ей?

— Сказал.

— И что она?

— А что она? — Лерик пожал плечами. — Сказала: пошел ты на хер со своими валенками... или с вениками... вот что она сказала... Я и не сомневался, что так выйдет. Посидела со мной, пощebetала, послала меня куда подальше и побежала к Борису... или к Илье... не знаю...

— Это ты ей кольцо подарил?

— Тати...

— Лерик!

— Это была шутка, Тати! — Лерик попытался рассмеяться. — Ну шутка! Ты сама посуди, ну что бы она с этим кольцом могла сделать? Носить его невозмож-

но — засмеют, продать — да ее сразу арестовали бы... император Константин Багрянородный и все такое... Порфиrogenет... я же все понимаю, не полный же я дурак... я хотел забрать у нее это кольцо... потом забрать... надо же мне было выплеснуть все это из себя... а кольцо так, шутка...

— Иди к себе, — сказала Тати сухо.

— Ты это из-за кольца, что ли?

— Хватит, — сказала Тати. — Уходи.

Он встал, пошатнулся, выпил, выдохнул, рассмеялся.

— Зря только брился! Такие баки отрастил! Теккерей! И на тебе!..

И вышел, звучно похлопывая себя по щекам, которые пылали от гиперемии.

— Ксения, — сказала Тати. — Глоток Ксении — вот что мне сейчас нужно позарез.

«Глоток Ксении» — это выражение похоже на реплику из какого-нибудь вампирского фильма. Но все гораздо проще: «глоток свежего воздуха» — вот что значили эти слова в доме Осорьиных.

Дочери Нинон и Бориса тогда еще не было восемнадцати. Она не поступила с первого раза в университет, но не отчаялась. Вставала раньше всех в доме, обтиралась полотенцем, смоченным в ледяной воде, и садилась за учебники. Еще все спали, когда она отправлялась на пробежку — каждый день поутру она пробегала несколько километров вокруг Жуковой Горы.

Днем помогала матери по хозяйству, а вечером снова открывала учебник. Быть может, Ксения и не была семи пядей во лбу, но это была смышленная и упорная девочка. И конечно же, она была всеобщей любимицей. Невысокая, крепкая, подвижная, с шелковистой кожей и роскошными каштановыми волосами до плеч. Стеснительная, но самолюбивая, обаятельная и твердая. Глаза у нее были почти карими, с зеленоватым оттенком, а при ярком свете — золотистыми. От обиды губы у нее набухали, а голос становился низким и бархатистым.

Тати зазывала ее в свой кабинет, чтобы дать очередной урок английского или французского, а на самом деле — просто поболтать, *отвести душу от тьмы*. Они разговаривали о прошлом и будущем, о Чехове и воспитании детей, о мужчинах и дамах былых времен, о Сталине и князе Осорьине, который со своим батальоном отбил все атаки конницы Мюрата под Аустерлицем и сказал Наполеону, когда тот назвал его безумцем: «Я только держал строй, ваше величество. Держал строй».

Лерик читал ей отрывки из своего великого романа и безропотно выслушивал ее безжалостные суждения, а потом они пили чай — Лерик с коньячком, а сладостная Ксения — с конфетами.

Она следила за тем, чтобы у Сироты всегда была свежая рубашка, и хмурила прекрасные пушистые брови, когда он с виноватым видом лез в сапог за фляжкой.

Она терпеливо выслушивала слезливые жалобы Алины, которая рассказывала ей о своем актерском прошлом — оно так и не стало ее будущим.

Она находила общий язык с Лизой, хотя никто и не знал, о чем они разговаривали, спрятавшись от чужих глаз.

Два-три раза в году, во время школьных каникул, Борис брал ее с собой в поездки за границу, в музейные туры — Лувр, Прадо, Тейт, и с гордостью потом рассказывал, с каким достоинством Ксения держалась в самых дорогих лондонских или венецианских ресторанах.

Иногда я заставал ее у нас в Нижних Домах — Ксения дружила с Женечкой, дочерью Варвары: девочки катались на велосипедах, обедались домашним печеныем и хохотали.

Она гоняла на мотоцикле — сидя сзади, крепко обнимая Илью, с шалыми глазами, вся пылающая, влюбленная и отважная.

Иногда Илья приводил в дом на холме подружек — длинноногих красавиц, и Ксения, конечно, проигрывала этим произведениям декоративного искусства — рослым, в туфлях на высоких каблуках, в роскошных нарядах. Они были маслом и гуашью, акварелью и углем, бронзой и мрамором, а она — самой жизнью, летящей и горящей.

Я вышел в Конюшню, чтобы позвать Ксению, и тут у меня в кармане зазвонил телефон. Одновременно зазвонил городской телефон, стоявший на тумбочке в углу кабинета. И сразу же — мобильный телефон Тати. Городской телефон рядом с гостиной. Мобильные Бориса,

Лизы, Ильи, еще чей-то... даже вечно полудохлый телефон Алины затренькал где-то наверху... в Конюшню вошла Ксения в распахнутом пальто — в руке у нее был трезвонящий телефон...

Я поднес трубку к уху и услышал голос Женечки:

— Доктор, у мамы началось! Началось!

— Женечка... — Я обернулся к Ксении. — Скажи, пожалуйста, Тати, что...

— Да бегите же, доктор! — сердито сказала Тати, стоявшая у меня за спиной. — Она там рождает, а он тут суслит!

И я бросился вон из дома — вниз, к Варваре.

Это была сумасшедшая ночь. Когда я прибежал домой, Варвару уже сажали в машину «Скорой помощи». Выяснилось, что мне с нею нельзя, и я попытался уговорить соседа, чтобы он отвез меня в больницу, но сосед еще не пришел в себя после вчерашнего, и тогда за руль села его жена Галя, женщина огромная и решительная. Была ночь, стоял страшный мороз, Галя нервничала и пела во весь голос какие-то украинские песни, я курил сигарету за сигаретой, машину то и дело заносило на обледеневшем асфальте, «Скорая» вдруг остановилась, я подбежал к ней, но меня опять не пустили внутрь, в салон, где пугающе шевелились тени, я вернулся к Гале, которая весело сообщила, что бензин вот-вот закончится, но бензин все не заканчивался, и Галя стала рассказывать о том, как рожала двойню и как ее зашивали вдоль и поперек, у меня мутилось в голове, «Скорая»

внезапно включила мигалку и сирену и помчалась с такой скоростью, что мы ее чуть не потеряли, и когда мы остановились и я ворвался в приемный покой, маленькая медсестра в высоком поварском колпаке участливо улыbnулась мне и сказала: «У вас мальчик», а я ничего не понимал, и медсестра сказала: «Роды начались в машине, но ничего, обошлось. У вас мальчик». Она проводила меня наверх, мне показали издали сверток с младенцем, но повидаться с Варварой не разрешили, и я сказал, что это произвол, что это возмутительно, но никто меня не слушал, а через час отвели в палату, где лежала бледная Варя в каком-то милом платочке, с свалившимися глазами, и она прошептала: «Семен», и я сказал: «Конечно, как договаривались». Меня за руку вывели из палаты, и врач сказал: «Все обошлось, слава богу, а теперь делать вам тут нечего, ей надо отдохнуть». Я спустился к Гале, она хлопнула меня ручищей по спине, рывкнула: «Молодца, Семен! Молодца!» — и мы поехали домой, на Жукову Гору.

Еще из больницы я позвонил Женечке и сказал, что все в порядке, теперь у нее есть брат, и Женечка заплакала. Когда я вошел в дом, она уже спала. Я бессмысленно побродил по квартире, прилег, но не спалось, принял душ, выпил крепкого чаю.

Позвонила Тати:

— Мы уже все знаем, поздравляю с Семеном. Не хотите ли подняться к нам? Мы будем рады, доктор.

И я отправился к Осорьиним.

Наступило утро, но было еще темно.

Вот так и получилось, что я пропустил важные события, случившиеся той ночью в доме на холме. Я пропустил разговор Тати с Ксенией, Лизой и Митей, а главное — я пропустил семейный совет, на котором и были приняты решения, изменившие жизнь Осорьиных. Ведь это были ключевые события, как сказал бы автор детективного романа.

Сегодня, задним числом, я утешаю себя мыслью о том, что рассказчик всегда «не тот», а если бы был «тот», то мы лишились бы и детективных романов, и вообще литературы, мотор которой — догадка, а не знание.

Но тогда по мере приближения к дому на холме досада во мне только усиливалась. Я радовался, думая о Варе и малыше, но при этом сожалел об упущенной возможности.

И еще я вспомнил вдруг случай из детства, когда заблудился как-то в тумане на лугу, отчаялся, сел на землю и услышал звук автомобильного двигателя. Этот звук напугал меня — мне показалось, что он приближается сразу со всех сторон, и было непонятно, откуда вынырнет машина или машины, и я боялся, что в последний миг просто не успею увернуться от автомобиля, и я лег, закрыл глаза и замер, с ужасом прислушиваясь к этому звуку. Казалось, сквозь туман ко мне мчались сотни машин, они надвигались, а я не видел их, и это и было самым страшным. Когда звук приблизился, я вскочил, увидел зажженные фары и закричал от радости. Шофер

остановил грузовик и спросил, как проехать в Чудов, и я объяснил, как ему выбраться на шоссе. Он чертыхнулся и уехал, а я остался посреди луга один, в тумане, счастливый.

Туман...

Разговоры с Сиротой, Борисом, Нинон, Ильсей, Лериком ничего не прояснили, а только все запутали. И дело еще в том, что Тати не вела никакого расследования, и что-то подсказывало мне, что имя убийцы по-настоящему ее и не интересует. Она преследовала другую цель, но какую — я не понимал. Она обрывала разговор там, где начиналось самое интересное, игнорировала важные детали, мирилась с неясностью, уклончивостью и прямой ложью. Она вела себя так, словно давно что-то решила для себя, а теперь хочет только соблюсти какие-то формальности, и никакие новые сведения, никакие детали, несовпадения, никакая ложь не способны изменить этого ее решения. При этой мысли сердце мое сжималось.

В дом я вошел через черный ход — ко мне бросилась Ксения, повисла на шее, забормотала: «Доктор, доктор, поздравляю, милый, какое счастье...» Голос ее сорвался. Лиза обняла меня, провела пальцем по щеке, всхлипнула. Лица обеих были заплаканы.

В первую минуту я было решил, что девушки взволнованы разговорами с Тати, этим ее расследованием, но, когда увидел хозяйку, понял, что произошло что-то гораздо более важное, чем допросы-расспросы.

Тати поцеловала меня и повела в кабинет. Мы выпили по рюмке. Я рассказал о своих приключениях. Мне хотелось о многом расспросить Тати, но я ждал, когда она сама заведет разговор о том, что тут случилось, пока я отсутствовал. Я налил себе еще коньяку. Тати положила ладонь на кофейник, вздохнула и сказала:

— Остыл. Бедная Нинон...

Я ждал.

— Мы собираемся позавтракать, и надеюсь, вы с нами... это важно для меня, доктор... — Она взглянула на часы. — У нас, думаю, не меньше часа...

Тати вставила сигарету в мундштук, прикурила и приступила к рассказу.

— Наверное, вы не ждете, что я назову имя убийцы, — начала она. — И, надеюсь, вас не покоробит, если я скажу, что сейчас это не так уж и важно...

Она села в кресле так, чтобы лицо ее оставалось в тени, и стала рассказывать о встрече с Ксенией.

Ксения ничего не скрывала. Да, она была очарована Ольгой, такой яркой, такой раскованной, естественной, и однажды, выпив вина, позволила ей поцеловать себя. Если честно, то это она первая поцеловала Ольгу. Она ведь совершенно непривычна к вину. Но больше ничего не было. Ей стало не по себе, когда Ольга засунула язык в ее рот. А потом Ольга принялась раздевать ее, и Ксения сказала «нет». Больше ничего не было. Ничего. Ольга хотела стать своей. Она была водой в воде, огнем

в огне. Хотела понравиться всем. Но существуют границы, и Ксения понимала, когда следует сказать «нет». Ольга никого не любила. Если бы она могла выйти замуж одновременно за Бориса, Нинон, Тати, Сироту, Алину, Митю и Ксению, за мраморные статуи в холле, за портреты в гостиной, за скрипучую лестницу, ведущую наверх, — она вышла бы за них, за всех и за всё... Ксения это понимала, недаром же она по гороскопу Скорпион. Ей было жаль Ольгу, ужасно жаль, лучше бы Илья увез ее в «Пулю», как обещал, но Илья набрался, поездку отменили, и случилось то, чего не должно было случиться. Жаль.

Ольга рассказывала Ксении о себе: мать умерла, ни родных, ни близких, ни друзей — никого, одна. Одна в огромном чужом городе. Снимала квартиру с двумя подружками, работала то официанткой в кафе, то стриптизершей, то продавщицей на рынке — торговала китайской косметикой. Пыталась выжить. Хотела выйти замуж, завести детей, но мужчины такие козлы, говорила она. Ей не везло с мужчинами. Ужин в забегаловке, водка из пластикового стаканчика, секс на чужой кровати. Жизнь вроде бы мчалась, стучала колесами, но Ольга понимала, что на самом деле она увязла. Это был бег на месте. О родном доме, о маленьком городке, где она выросла, даже думать не хотелось. Она вспоминала о матери, которая по вечерам разглядывала календарь и бормотала: «Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье... и опять понедель-

ник...» Мать передергивало, когда она произносила слово «понедельник».

Ольге не хотелось возвращаться в этот жуткий понедельник. Да и к кому? К спившемуся отчиму, который сделал ее женщиной в тринадцать лет? Лучше уж Москва, чужая, но сулящая столько возможностей... И вот однажды она попала в этот дом. Увидела эти статуи, вазы, картины, услышала бой часов... все эти тени, запахи... Как бы ей хотелось выйти замуж за этот дом, стать своей, раствориться в нем... остаться тут навсегда... не судьба... Илье она была безразлична...

— Поверьте, доктор, — сказала вдруг Тати, — если бы этот шалопай решил жениться на ней, я не стала бы возражать...

— Лишь бы женился?

— Нет, — сказала Тати. — У этой Ольги могло получиться. Понимаете? В ней действительно было что-то такое... в ней была эта косточка, была... у нее могло бы получиться... это тот самый случай, когда риск оправдан... впрочем, я впала в сослагательное наклонение...

Ксения рассказала, где была и что делала после ужина. Помогла матери и Варваре убрать со стола, а потом села за учебники. Она слышала, как приехал Митя, но от ужина брат отказался. Вот и все.

— Мы стали перебирать события вечера, — проговорила Тати, — и я высказала кое-какие соображения. Ничего особенного. Сказала, что все врут. Врут или недоговаривают. Все. Борис, Нинон, Лерик, Илья...

Когда Тати произнесла имя Ильи, Ксения вспыхнула. Она была уверена, что Илья не совершал убийства. Только не Илья. Ксения готова была руку дать на отсечение. Голову дать на отсечение. Не Илья. Он действительно перебрал за ужином, и Ксения слышала, как он сказал Ольге, что поездка в «Пулю» отменяется. Не мог же он сесть за руль в таком состоянии. Ольга ушла, Илья тоже...

— Я давно хотела произнести эту фразу, и я ее произнесла, — сказала Тати. — Я сказала: у него нет алиби. Вы бы видели ее лицо, доктор!..

Ксения растерялась. Она не ожидала такого поворота. Она была сбита с толку этим алиби. Это слово она не раз слышала в кино — это было серьезно. Судьба Ильи оказалась под угрозой. Ксения собралась с силами, взяла себя в руки и сказала, что у Ильи есть алиби, и она готова это подтвердить. Он был у нее. Илья был у Ксении. Расставшись с Ольгой, он отправился к Ксении, и они занялись любовью.

— Бедная девочка... — Тати улыбнулась. — Вы бы слышали, доктор, каким голосом она это проговорила! *Мы занимались любовью.* Так говорят в кино. Мы занимались любовью... И ведь она была готова стоять на своем до конца. Была готова перед всем светом свидетельствовать о том, что отдалась Илье, а потому он не виновен в убийстве Ольги. — Тати вздохнула. — Будь я сыщиком, который знает Ксюшу, я поняла бы, что она не просто выгораживает этого шалопаю, — она что-то

видела и именно поэтому готова хоть на позор, хоть на казнь, лишь бы не пострадал Илья. Она видела Илью, знает, где он был на самом деле, но не скажет ни за что... Занимались любовью... слава богу, я не сыщик... — Она покачала головой. — И как же она была хороша в те минуты, доктор! Как хороша!..

Потом она стала рассказывать о Лизе — суховатым деловым тоном.

Ничего интересного, сказала Тати. Сначала они покричали друг на дружку, потом поплакали, и Лиза призналась, что переспала с Ольгой. Это был ее первый опыт такого рода, и ей понравилось, что уж скрывать. И все-таки это было не всерьез, это было понарошку. Не понарошку был Илья. Они давно встречались. Лизе не хотелось, чтобы об этом судачили, и она попросила Илью снять квартиру или дом поблизости, например, в Нижних Домах. Тот попросил Бориса — Борис снял для них домик...

— Но зачем такие сложности? — удивился я. — Мы же не в восемнадцатом веке живем...

— В голове многих людей всегда найдется местечко и для восемнадцатого века, и для двенадцатого, — назидательным тоном проговорила Тати. — Лиза — сложный человек. Вы это знаете не хуже меня, доктор.

— У Ильи прекрасная квартира в Москве...

— Как бы там ни было, они встречались. Вчера после ужина Илья отправился на встречу с Лизой в Нижние Дома. Там они и были, когда произошло убийство.

Если, конечно, оба не врут и не выгораживают друг друга. И, похоже, Лиза беременна...

Я развел руками.

— Тогда остался только Митя...

— Не остался. То есть остался, но это не он. Сейчас он у себя, пытается успокоить Нинон. — Тати вздохнула. — Нинон подозревала, что дело нечисто, и оказалась права. Этот дурак связался с какими-то негодьями, которые решили ограбить банк. Гангстеры! Остолопы! — Тати фыркнула. — Убили охранника и ограбили банк, идиоты. Помните, Сирота рассказывал об ограблении? В новостях по телевизору... помните? Оно самое. Митяка твердит, что он не стрелял, что у него и оружия не было... вот черт! У него полная сумка денег... миллиона два или три... Нинон вошла к нему, а он деньги пересчитывает... Ну не дурак? Дурак... Сами понимаете, что с ней сейчас творится... — Помолчала. — Мы его уговорили сдать. Явка с повинной — кажется, так это называется. Борис обещал найти приличного адвоката, но, конечно, это тюрьма... бедная Нинон...

Мы помолчали.

Наконец я собрался с духом и сказал:

— Тати, я понимаю, что все эти разговоры — никакое не расследование. Но тогда что это? Зачем? То есть — не отвечайте! Я спрошу по-другому... если не возражаете...

Она молча смотрела на меня.

— Я спрошу об Ольге. Молодая женщина случайно оказалась здесь, в этом доме. Появилась она тут не по своей воле — ее пригласили. Илья предложил остаться на какое-то время, и она осталась. Ей понравилось здесь, и она всем понравилась, какой бы смысл мы ни вкладывали в это слово. Она даже вам понравилась, хотя я и не знаю, какой смысл вы вкладываете в это слово. Я не хочу сказать, что все шло хорошо, что все было хорошо, нет... она, конечно, глупенькая дурочка, которая разинула рот на чужой пирог... даже не разинула, а так, помечтала немножко... ничего страшного — только мечты... но мечтать ведь тоже нужно умеючи, а она этого не умела... и вот ее убили... была жива, а теперь она мертва... и мы с вами знаем, что ее убил кто-то из своих... Это ужасно — подозревать своих. У меня ум за разум заходит, когда я думаю о Борисе или Илье, о Лизе или Нинон. В голове не укладывается и никогда не уложится! Этого просто не может быть! Это атомный взрыв, катастрофа, конец света — я не шучу: для меня это именно так. Сама эта мысль отравляет воздух, воду, этот коньяк, слова, взгляды и... и вообще все здесь, все — весь этот дом от фундамента до крыши, всю эту жизнь... это уже не жизнь, а судорога, Тати... — Я перевел дыхание. — Вы знаете или догадываетесь о том, кто убил эту женщину, но это для вас не главное, не важное... Господи, что же тогда? Я помню, как вы однажды сказали, что не хотели бы быть последней в роду, кто еще помнит, что чистота щита важнее, чем чистота скатертей... Но неужели... неужели вы хотите оставить все как есть? Оста-

вить убийство без возмездия, убийцу — без наказания? Эта Ольга — она живой человек, человек, и я ни за что не поверю, что вам это безразлично, что ради спасения доброго имени семьи... что семья сомкнет ряды...

Я запнулся.

Тати молчала.

— Чего вы хотите, Тати? Если это была не попытка докопаться до правды, то что же тогда это было? Чего вы хотите на самом деле? Вы хотите, чтобы убийца сам... чтобы угрызения совести... я же знаю вас сто лет, Тати, и я... я ничего не понимаю...

— Прощание, — сказала Тати. — Это было прощание, доктор.

Я опешил.

Она встала, прошла по кабинету, остановилась перед фотографиями на стене и заговорила о Косте, Константине Тарханове. Однажды он размышлялся о романе, в основе которого лежала бы история дома. «Разумеется, это была бы история людей, живущих в этом доме, — говорил он, — но дом должен быть таким же персонажем, как люди, а может быть, и главным действующим лицом...» Он говорил о том, что строительство дома мало чем отличается от строительства книги, разве что писатель строит здание, в котором сразу же поселяются люди. И они, эти люди, тоже участвуют в строительстве: носят кирпичи и воруют кирпичи, вставляют стекла и бьют стекла, влюбляются, ссорятся, расставляют шкафы и прячут в них скелеты, пьют водку и развешивают по стенам ружья, которые

когда-нибудь да выстрелят. Писатель надеется, что читателю будет интересно зайти в этот дом, пожить там, поближе познакомиться с обитателями, может быть, даже полюбить их, всех этих романтиков и скептиков, дураков и умных, худых и толстых, живых и мертвых. Тарханов говорил о том, что глупо было бы надеяться, что книга изменит человека или мир. Мир меняют герои и праведники, а писатель — не герой и уж точно не праведник. Кажется, Альбер Камю однажды сказал, что настоящий художник по природе своей не может служить тем, кто делает историю, он служит тем, кто эту историю претерпевает. На Руси никогда особенно не почитали героев, хотя и отдавали им должное. На Руси всегда почитали праведников, которые поддерживают огонь в очаге, пока вокруг бушуют войны, революции и мятежи. А когда войны и мятежи заканчиваются и уцелевшие люди возвращаются домой, их ждет огонь в очаге, похлебка на столе, чистая рубашка, любимая книга, то есть та самая нормальная жизнь, у которой не бывает ни начала, ни конца, а только — продолжение. Собственно, ради этого и строятся дома. Да и книги пишутся — только ради этого, ради продолжения...

— Помните ли, доктор, как вы с Борисом, Николашей и Лериком спорили о русской идее? — Тати подошла ко мне и села напротив. — Я помню, как все это формулировал Борис: для русских Афины всегда были выше Рима, образ жизни — важнее цивилизации, а храм — дороже дома; познанию Бога русские предпочитают безусловную веру в Него, знанию — любовь,

и творческий хаос для них — естественная среда обитания. В мире, захваченном злом, они принимают Рождество как неизбежный факт, а все свои упования возлагают на чудо Воскресения, на Пасху. Для них общение с Богом важнее общения друг с другом, и обществом они становятся в храме, а не в театре, не в цирке, не на городской площади... мои вы умнички... — Устало улыбнулась. — Русские орлы над Царьградом, Босфор и Дарданеллы, славянское единство, положительно прекрасный человек, либерте-эгалите-фратерните, коммунизм, всеобщее счастье, братство народов, кровь или любовь... — Покачала головой. — Да нет же, нет! Дом — вот и вся русская идея. Дом. Мы же бездомны, милый доктор. Земля у нас есть, а дома — нету. Так уж сложилось: мы — бездомны. И русский несчастный крестьянин, который сегодня строит дом, а завтра его с семьей продают, и плевать ему на этот дом из жалких дровишек, и русский дворянин, которому сегодня дали дом, а завтра отняли... или пожар... или враг налетит войной, все пожжет, всех побьет, а кого не побьет, тех уведет в рабство... или своя же власть ради улучшения человечества загонит кого на Колыму, кого на Бутовский полигон, кого на великие стройки, кого на Канатчикову дачу... казарма, больница да тюрьма — вот и весь наш дом, доктор... все эти кривые избушки, все эти тесные бетонные клетушки — это ж не дом... а тогда откуда на этой земле взяться хозяевам? Русское человечество живет, будто заброшенное в чужом краю... сегодня мы русские — только в церкви или на войне,

а хочется — чтобы еще и в доме... чтобы в доме были очаг и алтарь, не по отдельности, а вместе, потому что без очага алтарь — камень в пустыне, а очаг без алтаря — тепло без света... чтобы здесь жила любовь... да, любовь, иногда мучительная, часто несправедливая, но всегда настоящая... — Она помолчала. — Я хочу, чтобы и через сто лет в этом доме мои мальчишки валяли дурака и спорили о русской идее, чтобы и через сто лет в этом доме мои девочки влюблялись и рожали детей, чтобы по лужайке носились мои псы, чтобы мои часы исправно били и моя седьмая ступенька на лестнице невыносимо скрипела... и через сто лет, и через триста, и через пятьсот... а остальное — приложится, доктор, остальное — будет, родится, вырастет и будет...

Тати встала.

— Кажется, пора завтракать. — Она улыбнулась. — А убийца будет наказан обязательно. И преступление не останется без воздаяния, даю вам слово. Но и вы мне должны кое-что пообещать, доктор...

Я ждал.

— Пообещайте верить мне, — сказала Тати. — Что бы ни случилось, — верить. Пообещайте!

— О чем вы, Тати?

— Пожалуйста, Семен Семеныч! Это важно! Если вы меня любите, обещайте!

В голосе ее было столько неожиданной страстности, что я растерялся.

— Ну хорошо... верить — обещаю... но почему...

— Спасибо. — Она поцеловала меня в лоб. — А теперь мне надо переодеться к завтраку.

Вообще-то завтракали в доме Осорьиных где попало и как попало: Тати пила чай у себя в спальне, Борис, Нинон и Ксения — часто к ним присоединялся Сирота — в кухне, Илья выпивал чашку кофе на ходу, а Алина и Лерик никогда по утрам ничего не ели и не пили. Но на этот раз Нинон и Ксения подали завтрак в столовую, где обычно проходили семейные ужины.

С первого же взгляда я понял, что это не обычный завтрак: белоснежная скатерть, салфетки в кольцах, хрусталь, севрский фарфор, который доставался только по большим праздникам, столовое серебро, шампанское... при этом, однако, еда была простейшая, на скорую руку — салаты, бутерброды с сыром и ветчиной, черствоватый хлеб, масло, чай, кофе...

Нинон, Ксения, Лиза были в роскошных платьях, Борис и Илья надели костюмы и галстуки, даже Лерик привел себя в божеский вид. Но неладное я почуял, когда в столовую вошли Сирота и Митя, оба хмурые, в пиджаках и начищенных ботинках.

Появилась Тати — облегающее серое платье, тонкое ожерелье, обручальное кольцо, и все стали рассаживаться за длинным столом. Рядом со мной оказались Лерик и Лиза. Борис и Илья занялись шампанским.

О том, что в промежутке между последним допросом и встречей со мной Тати собрала семейный совет, я узнал позже, но о том, что в мое отсутствие произошло что-то очень важное и *общее*, я начал догадываться за завтраком. Настораживало уже одно только праздничное

убранство стола. И еще — это умиротворение, разлитое в атмосфере столовой, взгляды, реплики, жесты, улыбки, слезы в глазах Ксении, это спокойствие, похожее на обреченность... что-то неуловимое, но несомненное...

Я думал о мертвом теле, которое лежало в холодной прихожей, накрытое простыней, намазывал масло на хлеб, улыбался Нинон, сидевшей напротив, вспоминал патетическую речь о русской мечте и клятву, которую я только что в кабинете дал Тати, опускал руку в карман, где лежал телефон: хотелось узнать, как там Варя и малыш, но не звонил, голова кружилась, подступало отчаяние, наваливалась сонливость, сердце радостно екало, снова думал о мертвом теле в прихожей, накрытом простыней, и по спине бежали мурашки, Лерик что-то шептал мне на ухо, но я не слышал, сердце снова екнуло и словно опустело...

Я уже стал бояться, что не выдержу этого смешения чувств и усталости, как вдруг Тати подняла фужер и сказала:

— Пора.

Все встали.

В столовой стало тихо.

Тати выпила шампанского, кивнула мне и вышла.

Все продолжали стоять.

Дверь была открыта, и слышно было, как Тати крутит телефонный диск.

— Здравствуйте, — сказала она. — Я хочу сделать заявление. Да, конечно. Осорьина Татьяна Дмитриевна. Осорьина. Да. Я убила человека. Я убила Ольгу Шварц,

так ее зовут. Ольга Шварц. Да, я ее убила. Вы записываете? Поселок Жукова Гора...

Я обвел взглядом столовую, опустился на стул и потерял сознание.

* * *

Тати была верующей, но никому не докучала своей верой. Раз в неделю она отправлялась в деревню, в Преображенскую церковь, в которой венчались девять поколений Осорьиных и рядом с которой их хоронили. Однажды за ужином она заговорила об этом кладбище, о забросе и запустении, но мы, дети, не придали ее словам значения. Кладбище называлось Хомяковским — по близлежащей деревне Хомяково. А вот генерал дядя Саша понял, что имела в виду Тати, и через несколько дней привез на кладбище десятка два-три мужчин в комбинезонах. Они поставили новую ограду, скосили траву, вырубали кустарник, спилили гнилые деревья, засыпали ямы и убрали мусор, годами накапливавшийся у забора. На кладбище сохранились руины осорьинского мавзолея. Мужчины в комбинезонах восстановили мавзолей, хотя вход в него пришлось замуровать.

«Только не перестарайтесь, — сказала Тати. — Русское кладбище должно быть немножко заброшенным».

Потом мы стали ездить туда каждую неделю, по воскресеньям. Выпалывали сорную траву, сажали цветы, носили воду ведрами из реки, что-то красили, а потом

устраивали пикник на берегу Болтовни. Вскоре после обедни к нам присоединялась Тати.

Мы уплетали бутерброды, хлестали лимонад и пытались ловить раков, а взрослые пили вино и курили, лежа на ковре. Помню, Лерик как-то наткнулся в кустах у реки на огромного дохлого ужа, принес его Тати и с гордостью сказал: «Я поймал гада».

Тати похоронили на Хомяковском кладбище рядом с отцом и матерью.

Она умерла от острой сердечной недостаточности, успев дать признательные показания.

Следователь прокуратуры — его звали Пал Палычем — встретился со всеми Осорьиными и Татаринковыми, а потом и со мной. Я рассказал ему о единственной своей встрече с Ольгой, о беседах в кабинете, при которых присутствовал, и признался, что у меня даже предположений нет насчет того, кто и за что мог убить Ольгу Шварц. А когда Пал Палыч — уже не для протокола — спросил, верю ли я Тати, которая утверждала, что убила «эту девушку», честно ответил: «Да». Я же обещал верить ей — и сдержал слово. Если бы следователь сформулировал вопрос по-другому, я, наверное, ответил бы иначе.

Рядом с Тати похоронили Ольгу, у которой не было ни родных, ни близких. Осорьины позаботились о том, чтобы похороны были достойными.

Не прошло и месяца, как нам пришлось хоронить Алину, слабое сердце которой наконец успокоилось

навсегда. В ее комнате обнаружили одежду Ольги, но никто так и не понял, как она туда попала.

А через год мы проводили в последний путь Лерика.

Как же в те дни я жалел о том, что меня не было в доме на холме, когда Тати собрала семейный совет. Как бы я хотел услышать то, что она сказала Лерику, который через двенадцать месяцев после ее смерти сделал предложение Ксении, и что она сказала Ксении, которая приняла это предложение. А в том, что их свадьба была делом рук Тати, я не сомневался ни секунды.

За свадебным столом Лерик напился до изумления, мы — я, Ксения и Илья — кое-как уложили его и остаток вечера играли в подкидного «на уши», и Илья всякий раз оставался в дураках, и Ксения хохотала и била его картами по ушам, пока они не распухли.

Вдруг позвонила Варя, которая сказала, что я «опять все пропустил»: наш Семен впервые заговорил, впервые выговорил слово «мама». Я подхватился и бросился домой.

А наутро мы узнали о смерти Лерика, наглотавшего метаквалона. Где он его взял — ума не приложу. Наверное, из старых запасов Алины.

«Вот тебе и на, — сказал Сирота. — Вот тебе и кука-ре-ку».

Среди его бумаг мы нашли черновики предсмертной записки, сумбурной и патетической, в которой он брал на себя вину за гибель Ольги и смерть матери, но намеки его были слишком темны, слишком путанны, чтобы можно было принять их всерьез.

«Чувство вины может толкнуть человека на преступление», — писал он, но какое отношение имели эти слова к нему — бог весть.

Через десять месяцев Ксения родила мальчика, его назвали Дмитрием, Митей — в честь деда Ильи: в отцовстве ребенка никто не сомневался.

Ксения училась в университете, ухаживала за сыном, царила и правила в доме — все ею только восхищались. Восхищались ее умом, ее красотой — после родов она стала еще краше, ее твердостью и энергией. Благодаря ей и только ей реконструкция дома, затеянная Борисом, прошла без сучка без задоринки: Ксения проверяла счета, присматривала за рабочими и следила за тем, чтобы седьмая ступенька лестницы, ведущей наверх, невыносимо скрипела, как прежде, как всегда. И все с удовольствием признавали верховенство и главенство этой невысокой юной женщины с ясным взглядом, шелковистой кожей и роскошными каштановыми волосами.

По дому ей помогали Бибигуль и Гульбиби, которых все называли Биби и Гуля. Первой в доме появилась Биби, которую как-то летом нашли на берегу реки: она была без сознания, с перебитым носом и сломанными ребрами. Борис и Илья принесли ее домой, вызвали врача.

Поправившись, Биби стала помогать Ксении и Нинон по хозяйству, но о своем прошлом помалкивала. Вскоре к ней присоединилась сестра Гуля.

Эти высокие стройные татарки были молчаливы, расторопны, сообразительны и довольно красивы, особенно Биби, которой сломанный нос и шрам на щеке придавали какое-то диковатое очарование. Чертов шалопай Илья с интересом поглядывал на нее, а Биби говорила своим волнующим низким голосом: «Илья Николаевич, у меня от вашего взгляда скоро ожоги на попе появятся».

«У меня есть средство от ожогов, — вкрадчиво говорил Илья. — Очень хорошее».

Биби фыркала и краснела.

Илья женился на Лизе, она родила девочку — ее назвали Татьяной, Тати.

Большую часть года Лиза с дочерью проводила на Сардинии, укрепляя здоровье. Когда Илья отпраивался навестить жену и дочь, он брал с собой Биби. Как-то Лиза попросила мужа оставить Биби на Сардинии, чтобы та помогала вести хозяйство и присматривать за ребенком, и Илья согласился.

Борис оформил отношения с Катиш. Она больше не снималась в кино и подумывала о том, чтобы оставить сцену, заняться театральной педагогией. Катиш очень редко бывала на Жуковой Горе.

Никто не удивился, когда Борис стал директором Службы внешней разведки. Поговаривали даже, что он может стать следующим президентом России. Если теперь он бывал на Жуковой Горе, то в сопровождении охраны, причем гораздо более бдительной, чем прежняя.

Этим был недоволен только Сирота: охранники в первый же день обнаружили все его тайнички с водочкой.

Изредка к Борису приезжали гости, с которыми он играл на бильярде и пил виски в гостиной, и однажды я своими ушами слышал, как один из гостей, обращаясь к Борису, назвал его «вашим сиятельством» («Your Grace»).

В такие дни Ксения просила всех держаться подальше от бильярдной и гостиной и сама носила гостям напитки.

Нинон по-прежнему ждала его, волновалась, перед его приездом отправлялась в парикмахерскую, делала маникюр-педикюр, надевала красивое платье, открывавшее ее прекрасную грудь и плавные плечи, а за столом то бледнела, то краснела, глядя на любимого своего Бориса.

Помню, как она подвернула ногу, когда мы всей компанией гуляли у реки, и Борис на руках отнес ее домой и вызвал врача.

«Такую коровицу на руках таскать, — прошептала счастливая Нинон. — Господи, ты же надорвешься, Боренька...»

И Борис поцеловал ее забинтованную ножку и сказал: «Любимая коровица не в тягость...»

Раз в год Нинон ездила на свидание с Митей. Ему дали восемь лет лагерей: выяснилось, что он все-таки стрелял во второго охранника, но, слава богу, все обошлось легким ранением.

Я часто бывал в доме на холме, занимался тем же, чем и раньше: вел переписку с университетами, библиотеками, галереями, аукционными домами, разбирал архив, следил за изданием книг Николаши Осорьина.

Незадолго до смерти Тати попросила племянника, чтобы я получал «достаточное вознаграждение» за эту работу, и Борис распорядился, чтобы на мой счет поступало не только ежемесячное жалованье, но и отчисления от продажи того, что Осорьины отдавали на аукционы. Так что нам с Варварой удавалось и оплачивать обучение Женечки в университете, и откладывать на черный день.

Летом Гуля накрывала стол на террасе, и я за чаем рассказывал Ксении о своих делах, потом мы болтали о том о сем, потом к Ксении подсаживался Илья, и они начинали шептаться, Ксения красиво краснела и закусывала губу, когда он брал ее за руку, и руки не отнимала.

Иногда к нам присоединялся Борис, который курил сигару, развалился в плетеном кресле и потягивая виски. По лужайке носились золотые лабрадоры — Брут и Цезарь, рыжая кошка по прозвищу Евлалия Евлампиевна, существо кокетливое и капризное, устраивалась у Ксении на коленях, а ее кавалер Кудеяр растягивался на полу у ног Нинон, не сводившей взгляда с Бориса. Даша дремала в своем креслице. В зарослях воробьиного винограда жужжала мошкара, тяжелое солнце медленно садилось в густые кроны старых деревьев, издали до-

носился звук колокола сельской церквушки, в вышине тихо посвистывали двенадцать флюгеров — двенадцать осорьинских всадников...

В конце августа, в день рождения Тати, в доме на холме собралась вся семья, даже Лиза и Биби по такому случаю приехали из Италии. В такие дни мы ездили на Хомяковское кладбище, чтобы возложить цветы к могилам Тати и Ольги, а потом, ближе к вечеру, встречались за ужином, который обычно затягивался допоздна.

Я был один в кабинете, перебирал рукописи Тати, которая несколько раз принималась за мемуары, но так и не довела дела до конца. Она называла это «писаниной», и этой писанины в конце концов набралось на небольшую книгу.

Из разрозненных записей о родителях, о юности, о первом замужестве, о Тверитинове и Тарханове, о встречах с известными писателями, актерами, политиками складывался своеобразный портрет эпохи, увиденной глазами умной и ироничной женщины. Писала она так же, как и говорила, — словно захлопывая дверь за каждым словом.

Тати цитировала письмо одного из своих предков, старца Оптиной пустыни, который писал сестре — княгине Исуповой-Нелединской, урожденной Осорьинной (ее сыновей в 1918 году расстреляли большевики): «Нам никогда не разорвать порочного круга себялюбия, круга старой жизни и не открыть двери в будущее,

если человек не возьмет на себя все эти грехи, чтобы *они не пошли дальше*, умерли с ним, дабы не было уже ничего проклятого...» И чуть ниже — цитата из Гегеля: «...преступление и наказание никогда не находятся в отношении причины и следствия...»

Я думал не о преступлении и наказании — после смерти Тати эта тема стала запретной в доме на холме, я думал о том огне, который Тати оставила нам, всем и каждому. Я не мог и вообразить, что чувствовал и думал убийца, когда Тати сказала, что возьмет вину за преступление на себя. Я думал о том, что невиновные, согласившиеся с этим ее решением, принявшие его, таким образом разделили с нею вину за убийство, и с той минуты вся их жизнь, все силы сердца были направлены на то, чтобы претворить яд в мед, и я не знал и не знаю, по силам ли это человеческому сердцу.

Я чувствовал себя человеком, который живет, крепко сжимая в руке раскаленный уголь, и при этом — поверх невыносимой боли — я отчетливо понимал, что это не проклятие, а любовь...

Приближалась гроза.

С террасы доносились голоса детей, из гостиной — звуки рояля...

Я захлопнул тетрадь.

В кабинет заглянула Варвара:

— Пора.

В гостиной Борис играл Шопена, Илья курил у распахнутого окна, из которого открывался вид на пойму, на желтеющие рощи и холмы, Нинон, Лиза и Ксения — она была снова беременна — устроились на диване рука в руку, Катиш с бокалом вина — в кресле, Биби сидела на корточках и гладила собаку, развалившуюся на ковре, Даша в креслице дремала с вязаньем на коленях, вдалеке сверкали молнии, но солнце еще не скрылось за тучами, ветер вскидывал полупрозрачные занавески, рыжеволосая женщина с острым носом, пронзительно-голубыми глазами и лучшей в мире задницей смотрелась в зеркало, надменный вельможа со шпагой, державший строй под Аустерлицем, взирал свысока на своих потомков, рыжая кокетка Евлалия Евлампиевна ловила лапкой клубок шерсти, Илья обернулся с улыбкой, вошла Варвара, тронула меня за локоть, и вдруг невероятный свет залил гостиную, ярко высветив все эти лица, и все замерло на мгновение — и эти люди, и огромный простор за окном, и река, и холмы, и пылающие нищенским золотом сквозные рощи, и грозовое русское небо, отливающее лиловым серебром, и эта умопомрачительная музыка, и этот бессмертный свет, этот божественный свет...

Сердце у меня защемило, на глаза навернулись слезы.

— Пора, — сказала Варвара, беря меня под руку. — Соль на столе.

Осорьинские хроники.
Рассказы

Киевский август

КОЛЬЦО

Спасаясь от безжалостных убийц, посланных по его следу дядей, великим князем Киевским, князь Борис Осорьин, прозванный Черным, а также Бездомным, прибежал к Лисичьему перевозу и попросил лодочника переправить его на другой берег.

— А если те, кто гонятся за тобою, узнают, что я тебе помог? — сказал перевозчик. — Страшно, князь, их мести.

— Я тебе хорошо заплачу, — сказал Черный Борис, у которого не осталось уже ни дружинников, ни надежды, но страх. — Вот задаток.

Он снял с пальца золотое кольцо с печатью и положил на лопасть весла. Лодочник взял кольцо, оттолкнулся и уплыл в туман, обманув князя.

Борис приник ухом к земле и услышал топот коней. Это мчались варяги на Изяславовой службе, ведомые Харислейфом, посланным убить Бориса. Тогда вручил

князь душу свою Богу, побрел по берегу реки и выбрел на пещерку, где жил старый волхв.

— Скажи, волхв, что ждет меня? — спросил князь.

— Смерть ты примешь не от руки человеческой, но от Бога, которому молишься, — ответил волхв. — Уходи, князь, не то много зла испытаем оба.

Черный Борис убил его, переоделся в волховы одежды, а свои сжег.

Прискакали варяги, но князя не узнали.

У лодочника, который переправлял их на другой берег, Харислейф увидел золотое кольцо с печатью и спросил, откуда оно у него.

— С мертвого снял, — сказал лодочник. — Труп плыл по реке, уже рыбы его ели.

Харислейф взял кольцо и привез его в Киев, Изяславу. Великий князь плакал и велел служить молебен о душе племянника Бориса. Харислейфу же приказал искать тело Бориса в этом мире.

ЗМЕЙ

Борис прибежал к брату Андрею Осорьину и стал у него жить.

В то время княгине Улите, плакавшей о единственном сыне своем, погибшем по вине отца в походе на Чернигов, стал являться прекрасный Змей, принудивший ее к сожителству. Каждую ночь прилетал Змей к окну княгининою терема и ввергал ее в безумие, вни-

кая в лоно ее. Об этом Улита рассказала мужу и Черному Борису.

— Не знаю, что делать, — сказал князь Андрей. — Не знаю, как осилить Змея, ибо я слаб.

— Выведай у Змея его слабость, — сказал Борис. — От чего ему умереть?

Той же ночью, лаская Змея, спросила Улита, от чего ему умереть. И тот ответил, что от заговоренного меча, спрятанного в столпе церкви Святого Ильи, но не сказал, в каком столпе.

Притаившийся за пологом Борис все видел и слышал.

Пошел он в церковь Святого Ильи и молился, спрашивая Господа о мече. На третью ночь непрерывных молитв явился ему отрок, подвел к столпу и сказал: «Здесь меч». Меч блистал так ярко, что пришлось обернуть его холстом и еще плащом.

С мечом, обернутым холстом и еще плащом, Борис встал за пологом, глядя, как Улита снимает одежды и умащивает тело к встрече с Гадом.

Змей почуял недоброе и, когда прилетел,дохнул огнем. Через вспыхнувший полог вышел Борис навстречу Гаду с мечом, и начали они биться. Громко молился Борис Господу и убил Змея.

— Помнишь ли, о чем молился? — спросила Улита, когда предстал ей Борис, залитый Змеевой кровью.

— Шумна была битва, и не слышал, — ответил Борис.

— О лоне моем молил ты Господа, — сказала Улита. — Сладкой кровью омыт ты, Борис, и красив, как факел, краше всех.

И возлегли они, и вник Борис в лоно ее.

— Почему ты бездомный? — спросила затем Улита. — Разве не твои осорьинские города и села от дедов и прадедов?

— Ото всего отрекся, чтобы получить все, — ответил Борис. — Не могу довольствоваться малым, но лишь Киевом. Лучше же мертвым быть, чем малым.

— Ты сильный воин в поле и на лоне моем, — сказала Улита. — Помогу тебе.

ПЕС

Посланные великим князем Харислейф и варяги пришли к Андрею, узнав, что у него скрывается Черный Борис, и потребовали его выдать.

— Он брат мне, — сказал Андрей. — Не могу поступить, как Каин с Авелем.

— Изяслав отец тебе, ты ему клялся, — сказал Харислейф. — Где Борис, там мятеж и война. Выдай его.

— Не могу, — заплакал Андрей.

— Тогда изгони.

Промолчал на это Андрей.

Когда Харислейф ушел, Борис спросил у брата, неужели он выдаст его или изгонит.

— Не выдам, — сказал Андрей.

Об остальном промолчал.

— Дружина любит тебя, а не его, — сказала Улита Борису. — Он тебя изгонит. Что будешь делать? Надо убить его.

Борис ничего не ответил Улите, затворился в доме, где жил. Он долго бродил в темноте, ни с кем не беседуя, но с собой. Наутро вышел он из дома и увидел во дворе свинью, которую резали работники, а она вырвалась и побежала. Борис поймал ее за уши, повалил и заколол. Выпил чашу свиной крови, и стало ему весело, как от вина, и сказал он: «Пусть судит Бог».

Поехали они с Андреем на охоту, и в роще у реки убийцы напали на Андрея, но лишь ранили его. Андрей ускакал в лес и спрятался. Борис послал к Улите, она же дала им любимого Андреева пса, который побежал по следу князя, а убийцы за ним. Привел их пес к лесной пещерке, где скрылся раненый Андрей, и вынес в зубах князев плащ. Копьями достали Андрея, и выволокли, как собаку, и били ножами и мечами, пока не убили.

Борис вернулся в город, и дружина встала за него.

Когда вновь пришел Харислейф за Борисом, ворота перед ним закрыли, а посла вернули на копье.

ГОРБУНЯ

Великий князь Изяслав позвал князей и бояр рассудить его с племянником и помирить. Но Борис пришел к Переяславу и перекрыл все дороги. Скоро в городе

не стало ни хлеба, ни мяса, и трупы лежали в домах и по торговым местам, и даже псы их уже не ели, ни птицы.

Тогда пришел Изяслав к Переяславу и сказал:

— Я стар и болен, войны не хочу.

Сошлись они с Борисом у брода, целовали крест о мире и много пировали.

Ночью вошли к Борису Харислейф и еще трое, схватили князя, положили поперек груди доску и сели на нее, а Харислейф ударил Бориса ножом в левый глаз.

— Я еще увижу, как собаки будут жрать твои кишки, — сказал Борис, — и услышу, как ты будешь молить псов поскорее добраться до твоего сердца.

— Может, и услышишь, — сказал Харислейф, — но не увидишь.

Ударил ножом в правый глаз, но промахнулся и порезал Борису лоб. Ударил еще и ослепил князя.

Бросили слепого в яму.

Борис стонал, но некому было услышать его, кроме Бога.

Пришла к яме горбатая девушка и расспросила князя, а расспросив, спустила ему веревку и помогла выбраться.

— Спрячь меня, — сказал Борис. — Боюсь несътой лютости моих врагов.

Горбунья спрятала его в бане, помыла и передела князя и всячески ему служила.

— Я спасу тебя, — сказала она. — Как стемнеет, выведу тебя к твоим.

— Не говори, пока не сделано, — сказал князь.

Вечером горбунья принесла князю монашескую одежду и вывела его к дружине, уже беспокоившейся о своем князе.

— Вот он, — сказала она. — Я спасла его.

— Не говори так, — сказал Борис. — Бог меня спас.

Поскакали они верхом и мчались всю ночь до восхода солнца, тогда и остановились.

— Я спасла его, — вновь сказала горбунья. — Радуйтесь.

— Не говори так, — сказал старый князев дружинник Рябой Ангел. — То можно Богу, а ты убога. Молчи.

Но она не вняла. Тогда князь Осорьин велел взять ее, и ее взяли и сделали с нею то, что приказал Борис, а потом, связав, бросили на муравейник. Вечером на нее наткнулись и увидели сквозь отверстие в ее груди еще бьющееся сердце, черное от облотивших его муравьев.

Борис вернулся к Улите. Как только закрылись за ним ворота, бросился к нему любимый Андреев пес и от радости вспрыгнул в седло. Взял его князь двумя руками за шею и держал так, пока не перестала капать слюна с песьего языка.

Весть же о великом чуде разнеслась по городам и весям: Бог спас, извел слепца из ямы и указал ему путь домой, чтоб не осталось зло неотмщенным.

К Борису пришел Мстислав с дружиной, Руф Старый с дружиной, Ян с дружиной, Гельмольд с дружиной, Урукча с дружиной, и даже младший брат Игорь с дружиной и половцами, и берендеи, и черные клобуки тоже.

КИЕВ

В августе Борис Осорьин с войсками пришел к Киеву и послал к боярам и людям киевским сказать, что хочет посчитаться с Изяславом, нарушившим крестное целование, а против бояр и киевлян зла не держит.

Боярин Беловолод и другие прислали к Борису Просова сына, и сговорились они.

Наутро Харислейф вывел дружину и киевлян за стены. Изяслав тоже вышел, со старой дружиной и торками.

Как только из леса показались стяги Бориса и Игоря, киевляне захватили Харислейфа и передались Борису. Изяслав повел своих в бой, но увяз в болоте и не мог двинуться. Его связали и бросили у шатров Борисовых.

Черный Борис вошел в Киев об руку с Улитой, молился в Софии и в Десятинной тоже. Люди смотрели на черный его колпак, надвинутый на глаза, и боялись. Но великий князь был милостив к киевлянам. Вечером он устроил большой пир для горожан, сам же пировал на великокняжеском дворе. И все смотрели, как псы рвут кишки из Харислейфова брюха, и слышали, как тот молит псов поскорее добраться до его сердца.

Для Изяслава выкопали в земле яму, а над нею поставили сруб, и в ту яму князя заключили.

Митрополит Кирилл Грек смиренно просил за Изяслава, а потом стал обличать великого князя, говоря: «Ты был прав, мстя клятвopреступнику, ныне же ты дважды слеп, увязнув во мраке зла». За это был изгнан

и нашел приют у Изяславовых братьев — Всеволода и Изяслава-младшего.

Они собрали дружины, пошли к Днепру и разбили Мстислава и Яна, Гельмольд бежал. Тогда Черный Борис с братом Игорем и Урукчой пожег их села, а их самих разбил на Альте и гнал. Гельмольд вернулся и разбил Всеволода у Кучкова.

На исходе зимы встретились Черный Борис и Игорь с Всеволодом и Изяславом-младшим, целовали крест о мире и пиروвали.

Ночью Улита сказала:

— Не верю ни Всеволоду, ни Изяславу-младшему, и ты не верь. Стоит отдать им Изяслава, как они хотят, — соединятся и убьют тебя.

Борис позвал Рябого Ангела и сказал ему, что сделать, и той же ночью к Всеволоду ворвались убийцы с блещущими, как вода, мечами и убили его, а потом пошли к Изяславу-младшему.

— Зло творите, — сказал Игорь, заступив им путь. — Что скажет великий князь, брат мой?

— Уже сказал, — сказал Рябой и поднял меч.

Игорь опередил убийц и крикнул своих людей. Вместе с Изяславом-младшим они отбились от Борисовых дружинников и бежали, бросив кольчуги и щиты.

Борис взял Игоревы городки и избил его людей.

Игорь укрылся у Изяслава-младшего. Великая смута случилась в его душе. Он простился с дружиной и постригся малым постригом в Ильинском монастыре, где сидел митрополит Кирилл Грек.

КИРИЛЛ ГРЕК

Стали к Улите по ночам являться бесы, хватать, бить и влагать свои язвящие персты во все влагалища и щекотать до дурного смеха и падучей. По утрам она вставала, искусанная их зубами, побитая, в крови, и плакала, но молитвы не помогали. Борис служил молебны по церквам и монастырям, но не было Улите утешения. Она пила воду и говорила, что это кровь, и умывалась кровью как водой.

Борис приказал тайно выкопать в холме глубокую яму и часто спускался на самое ее дно со свечой, которой видеть не мог, но которую видел страж, и подолгу там сидел молча или кричал подолгу. Иногда после этого ему удавалось заснуть.

Изяслав упросил Бориса отпустить его в монастырь, и Борис отпустил. Ноги у князя распухли от земляного сидения, и лежал он как бревно, не мог ходить. Пришлось разобрать сруб над ямой и доставать князя веревками. Принял он схиму в Федоровском монастыре.

Кирилл же митрополит не хотел и не мог возвратиться в Киев и сокрушался, что не удалось ему предотвратить братоубийство, и каялся, проклиная себя так, что заболел.

— Нет на тебе вины, владыка, — сказал Изяслав-младший. — И крови нет на тебе. Разве виноват ты в том, что тебя не послушали.

— Не так говорил, вот и не послушали, — сказал Кирилл. — Значит, слово мое без Слова. Бог отвернулся от меня, умалив, лучше б мне умереть.

Почувяв приближение смертного часа, он велел епископу и архимандриту, обвязав его ноги веревкой, выволочить в поле и бросить его мертвый труп псам на потребу. И так они были напуганы, что сделали по его слову.

И тогда потрясся народ, и бояре, и многие князья, и сказал Изяслав-младший Игорю:

— Нет ни моего, ни твоего, но наше. Мы сами должны сделать то, что должны.

— Быть по сему, — сказал Игорь. — Бог выше крови.

Пришел к ним Руф Старый с дружиной, Гельмольд с дружиной и торками, Мстислав же не пришел, и стали они готовиться к большому походу.

ИЗЯСЛАВ

Узнав о приближении дружин Изяслава-младшего и Игоря, киевляне сошлись на вече у Софии, и стали одни кричать: «Выдадим Изяслава», а другие: «Смерть Изяславу, от него наши беды».

— Что нам Изяслав? — сказал князь Осорьин. — Он монах.

— Изяслав умер для мира, — сказал Василий Киянин, архиепископ Киевский. — Не творите зла, братья.

Но те, кто требовал Изяславовой смерти, побежали к Федоровскому монастырю, волнуясь и крича.

— Поезжай и реши, — сказал великий князь Рябому Ангелу. — Это дело Божье.

Ангел с дружинниками верхами поскакали к монастырю, но в пути задержались из-за берендеев, бившихся у винных бочек.

Киевляне ворвались в церковь, где молился Изяслав.

— Господи, — сказал он, увидев людей с ножами и мечами, — воззри на смирение мое, на злую печаль и скорбь, постигшую меня. Помоги мне, чтобы, уповая на Тебя, я все стерпел.

Его ударили и выволокли из храма.

— Не убивайте, — сказал Изяслав, — все забыто, Бог сподобил меня принять схиму.

Подоспевшие дружинники окружили князя, а Рябой Ангел прикрыл его от толпы своим плащом и отвел во двор Просов.

— Не оставляй меня здесь, — сказал Изяслав. — Они придут и убьют меня.

— Бог тебе страж, князь, — сказал Рябой Ангел.

Когда он ушел, убийцы ворвались в Просов двор и убили Изяслава, а голову его воздели на копье, забив отрезанный член с яйцами ему в рот.

Борису принесли золотое кольцо с печатью, снятое с Изяславовой руки, и великий князь узнал кольцо и заплакал.

ЧЕРНЫЙ БОРИС

Три дня и три ночи безостановочно били тараны в киевские ворота. Над городом висели черные тучи, сулившие грозу, но Бог пока безмолвствовал.

Великий князь собрал дружинников и велел выступить, а сам пошел к Улите.

Она сидела у окна.

— Я слеп, но вижу, — сказал он. — А что видишь ты? Что там?

— Август, — сказала Улита. — Опять август.

— Волхв сказал мне, что смерть приму я от Бога, а не от руки человеческой, — сказал Борис. — Уходи, тебя выведут, ты еще родишь мне сына.

— Ты слеп, — сказала Улита. — Бог покинул нас.

Борис выхватил меч, но не смог сделать ни шагу: сапоги его прилипли к полу.

— Это Бог, — сказала Улита.

Борис вынул ноги из сапог и приблизился к ней.

— Загляни в мой рот, сука, — сказал он. — Видишь?

— Боже, — сказала Улита, заглянув, и заплакала.

Оставив ее на полу, босой Борис вышел на крыльцо. Он услышал, как с грохотом рухнули ворота и ревущий враг ворвался в город. Борис поднял меч над головой и страшно закричал, и в этот миг молния ударила в подъятый меч, облекла князя с головы до пят, и рухнул он, черный и горящий, и испустил дух, крича.

Аминь.

Борис и Глеб

Ранней осенью 1583 года покрытые пылью всадники вымахнули из редкого перелеска, с ходу одолели мелкую ленивую речушку и вскачь поднялись на отлогий холм, с вершины которого открывался вид на стобашенный замок и притулившийся к нему городишко — россыпь изъеденных сыростью изб, тускло-золотые луковичи православных церквей и колко поблескивающие в свете заката кресты костелов.

— Дождемся утра? — спросил князь Борис.

— Ударим тотчас! — возразил Глеб.

И оба скинули длинные дорожные плащи, оставшись в островерхих шлемах и кольчугах, обтянутых холстом.

Князь Борис махнул рукой в железной перчатке, и сотня помчалась вниз — к беспечно раскинувшемуся городку, к храмам и замку, у ворот которого подремывали пьяненькие сторожа.

Чтобы сбить противника с толку, отряд братьев Осорьиных совершил дальний рейд в глубину Литвы, а уж оттуда двинулся к владениям князя Курбского, который, конечно же, никак не ожидал нападения с запада.

Обернутые ветошью конские копыта глухо стучали по сухой земле. Кони и всадники были серы от дорожной пыли. Горожане разбегались кто куда, с изумлением и страхом провожая бешено скакавший отряд взглядами из-за заборов: кто были эти безмолвные серые всадники? что им нужно в мирном городке? кто послал их? — как вдруг на перекрестке под ноги Борисова коня бросился юродивый с погремушкой, в грязном мешке, служившем ему одеждой, — бросился, что-то крича, с раскинутыми крестом руками, — и вот тогда-то и блеснула сталь: князь Борис ловким ударом снес юродивому голову, а мчавшийся следом Глеб тяжелой татарской саблей рассек его напополам.

— Русь! — дико закричал Борис. — Москва!

— Русь! — хрипло подхватили страшнолицые всадники, выхватывая сабли.

— Русь! Москва! — в ужасе завопили горожане, кидаясь кто в храмы, кто в поле за околицу, кто в подвалы и на чердаки.

В клубах серой пыли сотня с протяжными воплями, свистом и ревом, горяча храпящих коней, смела запыладо всполошившихся сторожей и ворвалась в замок.

— Занять восточные ворота!

Русские рассыпались по мощеному двору, разя направо и налево все живое, ворвались в кордегардию, двое рухнули наземь, сраженные мушкетными пулями, но стрелков тотчас достали копьями, — загромыхали по лестницам и узким коридорам...

— Где Курбский?

— В часовне!

— Схизматики, князь! — закричал человек в сутане, тряся бритой головой с полуоторванным ухом и белыми, как у слепого, глазами.

Но было поздно. Серые люди, не слезая с коней, уже вплывали один за другим в часовню, с копьями внаклон, с окровавленными татарскими саблями, разверстые черные рты изрыгали хулу и грозу. Борис и Глеб спрыгнули с коней и стремительно бросились к супостату, замершему у багряно-золотого алтаря, Глеб взмахнул саблей, еще и еще, а затем отсек голову — с уже закатившимися глазами и залитой черной кровью седой бородой. Князь Борис схватил за руку девушку, еще почти девочку, прижавшуюся к стене под иконой, поставил ее рывком на колени, но она вдруг подняла лицо и умоляюще посмотрела на него бездонными жидовскими глазами, и этот взгляд поймал и Глеб, прятавший голову князя Курбского в кожаный мешок, который один из всадников приторочил к его седлу...

Воины действовали быстро, решительно и умело. Пока они добивали княжескую челядь и обкладывали замковые покои соломой и хворостом, Глеб быстрым

шагом обошел помещения. В кабинете Курбского внимание его привлекло медное колесо величиною с ангельский нимб — оно безостановочно вращалось, колебля током воздуха зажженные свечи, чей свет тонул в янтаре и пурпуре заката.

— Рейтары, — доложил сивоусый сотник, не повышая голоса. — По наши души.

Схватив со стола медное колесо и опрокинув подсвечник на стол, крытый рытым бархатом и усыпанный бумагами, Глеб бросился вон из покоев Курбского, уже подоженных дружинниками.

— Она-то нам зачем? — хмуро спросил он, взлетая в седло и стараясь не встречаться взглядом с братом, за спиною которого сидела с закрытыми глазами девушка.

— Не нам, — сказал Борис. — Мне.

— С Богом! — сказал Глеб, пуская коня в галоп.

Они помчались на восток — впереди ощерившийся тяжелыми копьями дозор, за ним братья Осорьины, чуть отстав — арьергард, сыпавший из мешков железные колючки для копыт рейтарских коней.

На второй день у Дубовицкого брода погоня настигла поредевший русский отряд, на скорую руку избавлявшийся от раненых и ослабевших: нельзя не выполнить повеление великого государя Иоанна Грозного, ждавшего головы князя Курбского, — поэтому вперед, вперед, чего бы это ни стоило, вперед, меняя коней и бросая раненых, — Бог простит, царь отмолит.

Вечером они затаились в лесу, положив коней и распластавшись в зарослях папоротника, в буреломе, в густом подросте. Девушка лежала между Борисом и Глебом, источая прекрасный аромат страха, волнующий запах юной плоти, и Борис набросил на нее пропахший конским потом дорожный плащ, чтобы рейтары не учуяли этот аромат, этот запах — всепроникающий женский дух, от которого перехватывало дыхание и в сердце делалось пусто, как на небесах. Нужно было не только остаться незамеченными, но и дожждаться возвращения рейтар, и это-то и было самое страшное. Рейтаровы ищейки из местных жителей вскоре обнаружили, что на дороге за бродом следов гораздо меньше, чем было прежде, и поняли, что впереди — только дозор, пущенный для отвода глаз, — что ж, глаза отвели, но нюх не ошибается, ищейки почуяли русскую кровь, она была где-то рядом, поблизости, и рейтары вернулись скорее, чем ожидалось.

Смеркалось, когда поляки осторожно вошли в лес, держа оружие наизготовку, впереди пешие с факелами и пистолетами, за ними сотни две конных с пиками и саблями, следом еще и мушкетеры.

В лесу быстро темнело.

Русские лежали не шелохнувшись, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, напряженные, оглохшие от шума собственной крови, готовые в любой миг вскочить и вступить в рукопашную — среди деревьев и папоротников, в густеющей тьме.

Первая цепь поляков прошла далеко от затаившихся русских. Вторая — в нескольких шагах от сивоусого сотника, вжавшегося бритым лицом в прелую листву.

Девушка, впавшая от страха в забвенье, глухо застонала спросонья, шевельнулась, Борис сжал ее руку свою, в железной перчатке, — она вздрогнула, всхлипнула. Лежавший рядом Глеб приподнял голову, и Борис почувствовал обжигающий взгляд брата на своем лице — и еще сильнее сжал женскую руку. Она дрожала. Она могла не выдержать этого испытания, нелегкого и для воинов. Борис перекатился на другой бок и навалился на нее всей своею железной тяжестью, скинул перчатку, сунул руку под одежду, нащупал ее лицо, сжал дрожащую мякоть горла, — она вдруг потянулась губами к его ладони, коснулась, вжалась, губы ее были теплы и мягки, и наконец затихла, кротко и неслышно дыша в пахнущую кровью и потом мужскую ладонь.

Рейтары медленным шагом ехали над ними, рядом, их кони фыркали, но крепчайший женский дух забивал запах воинов, и кони не чуяли врагов, они ступали между телами, и всадники в наступившей темноте не могли разглядеть русских, и вот они стали удаляться, уходить, скрылись наконец, исчезли, зло гомоня и громко чертыхаясь.

Сивоусый сотник сел, держа перед собою на весу раздавленную польским копытом левую кисть, и со счастливой улыбкой громко прошептал:

— Ну и вонища! Кто обосрался, ребята?

Через полчаса они уже снова мчались на восток, безжалостно погоняя коней, — впереди Глеб с кожаным мешком у седла, в котором болтались медное колесо и голова князя Курбского с задубевшей от крови бородой, следом, на полконя сзади, князь Борис с девушкой за спиной, окутанный ее головокружительным запахом, за ними — полсотни пропыленных и усталых всадников, державшихся тем, что сильнее «не могу» или «не хочу», — суровым «нельзя».

Только за Можайском они поменяли запаленных лошадей и передохнули сами.

Передышка была краткой: царь ждал.

Они знали это, они чувствовали это ожидание, ощущали кожей, нервами, — они шли на цареве ожидание, как псы на горячую кровь, и даже не задержались на Поклонной горе, когда их взорам разом открылась огромная панорама тысячекупольной столицы православного мира с волновавшимися над крестами тучами воронья, — пришпорив коней и сомкнув ряды, они помчались к Москве, к ее смрадным улочкам и бескрайним площадям, к ее надменным соборам с крестами, попирающими полумесяцы, с ее муравьящимися рынками, колдунами, ворожеями, волхвами и ведьмами, которыми по приказу государя был населен Кремль, дабы волшебники были всегда под рукой: царь доверял только звездам.

Скорым шагом они прошли через анфиладу покоев и повергли к ногам государя голову Курбского. Царь взял голову за волосы, плюнул в мертвое лицо, велел поднести братьям по чарке крепкого вина и всячески наградить, а потом спросил:

— А что себе взял, Борис?

— Ничего, государь.

— А ты, Глеб?

Глеб поставил перед царем медное колесо величину с ангельский нимб, которое безостановочно вращалось.

Государь отпустил Бориса, а Глебу велел остаться.

— Ты выблядок, Глеб, — сказал он. — Все знают, что ты Осорьин, но твой отец был мертв, когда мать родила тебя. В моей власти вернуть тебе имя и княжество. Проси.

— Прошу, государь.

Иоанн наклонился к нему с трона.

— А о чем еще хочешь просить?

— О женщине, государь, — ответил Глеб, не поднимая на царя взгляда. — Мы захватили ее в замке Курбского... она у Бориса...

— Значит, он все-таки что-то приберет для себя... — Царь кивнул. — Что ж, будь по-твоему, князь.

Глеб молчал.

— Любовь, — задумчиво проговорил Иоанн. — Иногда я думаю, что ад находится в самом горячем месте Господня сердца...

И движением руки отпустил Глеба.

Тем же вечером думный дьяк привез Глебу государев указ о признании его сыновства, княжеский перстень, снятый с руки Бориса, и ларец, в котором на бархатной подушечке покоилось левое ухо юной еврейки. Глеб надел кольцо на левый безымянный палец, а ухо велел оправить в серебро.

Князь Осорбин прожил долгую жизнь. Он присягал царю Федору, царю Борису, Дмитрию Самозванцу, царю Василию Шуйскому, царю Владиславу, стоял слева от Михаила Романова, когда тот восходил на престол. Он был храбрым воином и мудрым советчиком, но каждый день, возвращаясь домой, он видел в углу под иконой медное колесо, которое безостановочно вращалось, целовал висевшую на груди ладанку с заключенным в нее прекрасным ухом, всякий раз думая то же, что всегда, и понимая, что думать это он будет до самой смерти и даже, возможно, после смерти: большинство людей боятся признаться в том, что их рай — в самом горячем месте Господня сердца, в средоточии его пламенной любви, в аду...

Смерть эфанта

Ребенка повесили в понедельник, палача — в четверг, а слона казнили в субботу.

Была метель, начинало темнеть, и, когда слон появился из Серпуховских ворот, зрители не сразу поняли, что это за чудовище движется к ним, огромное и темное, в окружении всадников с факелами и пеших солдат с копьями и алебардами. Когда слон приблизился, стало видно, что спина и уши его облеплены снегом, в складках под глазами замерзли слезы, а левый бивень сломан. Его хобот покорно лежал на плече араба, который вел зверя к загону, выстроенному посреди пустыря, неподалеку от кладбища, где хоронили безымянных пьяниц.

Артиллеристы зажгли фитили и опустили на колесо у пушек, выставленных на тот случай, если зверь вздумает напасть на людей, сгрудившихся у загона. Но слон проследовал в загон спокойно, не глядя по сторонам, и замер, уткнувшись в стену.

— Элефант, — пробормотал кто-то из голландских купцов.

Когда-то его кормили рисом, медом и печеным хлебом и каждый день давали ему ведро водки. Когда-то его каждый день скребли и мыли, чтобы слоновья кожа оставалась белоснежной. Вечерами араб услаждал слух эфанта игрой на свирели, а летом выводил его к реке на прогулку. Слон плыл сквозь толпу, мальчишки свистели, старухи крестились, юродивые завывали, показывали кукиш и корчились в пыли, а эфанта величественно шествовал, положив хобот на плечо араба и помаргивая детскими глазами, и всем хотелось, чтобы он встал на задние ноги, поднял хобот к небесам и вострубил, вострубил, и стало бы страшно и сладко... Но слон не обращал внимания на москвичей, на их крики и ужимки. И лишь иногда он вдруг придерживал шаг и наваливал кучу, вокруг которой тотчас собирались торговцы, колдуны и бродячие монахи. Одни утверждали, что дерьмо эфанта по своим целительным свойствам не уступает навозу единорога, тогда как другие выше всего ставили помет Левиафана, зверя из бездны. Ржали лошади, ревели верблюды, скоморохи били в бубны, цирюльники люто щелкали ножницами, ветер трепал цветные тряпки, прикрывавшие срам у каменных фигур на Фроловской башне, у Свибловой же вороны наперебой клевали трупы разбойников, а слон величественно шествовал дальше, невозмутимый, белоснежный, несравненный, как бог или царь...

Слонов было два, черный и белый. Их подарил Ивану Грозному персидский шах Тахмасп. Но черный слон отказался преклонять колени перед московским государем и был за это изрублен в лохмотья мясницким топором — это сделал немец-опричник Штаден. Белый же оказался послушнее и остался в живых. Он пережил грозного царя, его сына Федора, Бориса Годунова, Лжедмитрия, Василия Шуйского — великие бунты и великие пожары, заговоры и смерти — и дотянул до царствования Михаила, первого государя из рода Романовых. Теперь он был стар, болен и тощ, и смерть была бы для него милосердным избавлением от страданий.

Люди забыли о белом слоне, хотя всего восемь лет назад он был героем и любимцем толпы. Мало кто помнил день его славы.

А слава его случилась весной, 3 мая 1606 года, когда в Москву въехала Марина Мнишек, невеста царя и самодержца всея Руси Дмитрия, императора и самозванца.

Третий Рим встретил ее звоном тысячи колоколов, пушечными залпами, грохотом барабанов, ревом труб и лязганьем литавр... карета с золочеными колесами... князя, бояре, ханы, мурзы, патриарх со свитой, дворяне и монахи, купцы и воры... французские копейщики в бархатных плащах с золотыми позументами, шотландские алебардчики в фиолетовых кафтанах, немецкие артиллеристы в зеленом и красном, польские гусары в сверкающей стали, русские стрельцы в лазоревом, алом и травчатом, казаки и гайдуки, татары и кабар-

динцы... знамена и хоругви... мушкеты и пики... собо-
ля, сукна, шелк, рогожа, сурьма и румяна, серебряные
гербы и медные серьги... тысячи голубей в небе, львы
и тигры, ревушие во рвах...

Праздничное возбуждение достигло высшей точки,
когда процессия миновала Никитские ворота и при-
близилась к Львиному мосту... люди уже начинали за-
дышаться... некоторые не могли сдержать слез... молодая
женщина в ярко-желтом платке упала в обморок, и ее
вынесли на руках из толпы... напряжение усиливалось,
нарастало, становилось невыносимым, и если бы вдруг
разразилась гроза, никто не удивился бы... гром, мол-
ния, ливень, крики ужаса и радости... но вместо этого
налетел ветер... вихрь... он взметнул пыль и сор, ударил
в лица, понес песок и пыль вдоль улицы... стало темно...
мрак проник в сердца людей, вдруг вспомнивших о том,
что точно такой же вихрь пал на Москву, когда в город
вступил Дмитрий Самозванец... это был *malum omen*,
дурной знак...

И вдруг, так же внезапно, как налетел, ветер стих,
наступила тишина, и посреди опустевшей улицы возник
белоснежный слон... люди не верили своим глазам... это
было как во сне... элефант как будто выпал из вихря... он
поднялся на задних ногах, вскинул хобот и вострубил,
вострубил, и этот звук показался людям гласом Божиим,
голосом, призывавшим к радости и любви... а потом
слон грациозно опустился на колени и поднес Марине
Мнишек кубок с вином, держа его хоботом, как рукой...

Маленькая, безгрудая, с хищным и черствым лисьим лицом, тонкогубая и мелкозубая, с голубоватой детской шеей, едва выдерживающей тяжесть высокой прически из конского волоса, закованная в стальной испанский корсет, испуганная, растерянная и злая, Марина с ужасом смотрела на белоснежного зверя, стоявшего на коленях и взиравшего на нее детскими глазами.

А рядом с нею замер царь Дмитрий — низкорослый, широкоплечий, безбородый и безусый, с двумя чудовищными бородавками на лице, с маленькими глазами, без шеи, с руками как медвежьи лапы.

Все ждали.

Пауза затягивалась.

И вдруг Дмитрий встряхнулся, с облегчением выдохнул, взял у эфанта кубок и воскликнул высоким срывающимся голосом:

— Слава! Слава!

Внезапно ударила пушка, другая, закричали рожки, прорезалась флейта, зарокотали турецкие барабаны... и тут вдруг слон пустился в пляс... он вскидывал хобот, сворачивал его кольцом и фыркал... он вставал на задние ноги и трубил... он переминался с ноги на ногу и широко разевал свою поросячью пасть, словно улыбаясь... снова поднимался на задние ноги и кружился, кружился... люди очнулись, перевели дух, зашевелились, загомонили...

— Слава! — снова крикнул Дмитрий.

— Слава! — откликнулся кто-то из стрельцов.

— Слава! — радостно закричала толпа. — Слава!

И снова запылала небесная синь, и снова залились малиновым звоном колокола, и снова Марина была первой красавицей на свете, румяной и пышной, как само счастье, а Дмитрий — великаном, красавцем, могучим государем, рыцарем, владыкой и повелителем языков и сердец...

Подбежавший араб что-то крикнул, слон взмахнул ушами и направился к Львиному мосту, и за ним под звуки колоколов и варварской музыки двинулись кареты, конница, пехота, потянулся народ...

Тем вечером люди чествовали слона.

Они поили его медом и водкой, кричали: «Слава!», и белоснежный элѐфант вставал на задние ноги и радостно трубил, и все его любили...

Это случилось восемь лет назад. Через пять дней, 8 мая 1606 года, Дмитрий и Марина обвенчались. Спустя еще девять дней Самозванца убили и выстрелили его прахом из пушки, щуплая же Марина чудом спаслась, спрятавшись под широкой юбкой своей фрейлины.

А хмельной слон той ночью крепко спал в царской конюшне.

Он знал, что утром его будет ждать сытный завтрак — корзина калачей, рис, патока и водка. После этого араб отведет его к реке, чтобы элѐфант мог искупаться.

Слон улыбался во сне.

Он не слышал ни набата, ни криков, ни выстрелов и не видел, как заговорщики убили Дмитрия, а потом выволокли его нагое тело на площадь и оставили на поругание толпы.

Близился рассвет.

Элефант спал.

Утром араб не нашел ни свежих калачей, ни риса, ни водки. Слону пришлось довольствоваться овсом и зелеными березовыми ветками. А через неделю прожорливого гиганта выгнали из царских конюшен, и начались его скитания по России, охваченной войной.

Восемь лет лишений и страданий превратили бело-снежного красавца в тощего горбатого уродца, подбирающегося у церквей и богатых домов. Араб был счастлив, когда удавалось раздобыть немного репы или брюквы для элфанта. Зимой они воровали солому с крыш, а летом питались лесными орехами. Несколько месяцев слону пришлось таскать осадные пушки, а однажды он принял участие в кавалерийской атаке. Шведские пули, польская шрапнель, русские копья и казацкие сабли оставили следы на его шкуре. Несколько раз его пытались съесть. Он потерял бивень и оброс серым грубым волосом. Его мучила одышка, а зимой донимал кашель.

Наверное, он так и умер бы где-нибудь под забором... снег, черные будылья бурьяна, вороны... и весной кто-нибудь обнаружил бы кучу огромных костей, череп со сломанным бивнем, обрывки грязной шкуры... все

к тому и шло... но он дотянул до лета 1614 года, и судьба его неожиданно оказалась вновь связана с большой политикой...

Летом 1614 года правительственные войска захватили в плен Марину Мнишек, ее сына Ивана и ее любовника атамана Заруцкого. Их имена были символами Смуты, этого ядовитого облака, которое все еще висело над Россией, сулило новые бунты, новые страдания. Память и мысли русских людей были захвачены жуткими видениями, мрачными пророчествами. Имена Марины, Заруцкого и маленького Ивана, которого называли Воренком, были адским паролем, разбойничьим кличем, заклинанием, зовущим демонов смерти...

Марина Мнишек была венчана на царство, поэтому казнить ее, во всяком случае публично, было невозможно, а вот ее любовник и сын были обречены.

Атамана Заруцкого посадили на кол в конце июля 1614 года, вскоре после того, как его в цепях доставили в Москву.

Спустя два с половиной месяца, 13 октября 1614 года, в понедельник, на пустыре за Серпуховской заставой был казнен Воренок, Маринкин сын, мальчик, не достигший четырех лет.

Вот как описывает эту казнь Элиас Геркман, голландский купец и поэт, опиравшийся на свидетельства очевидцев:

«Многие люди, заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребенка с непокрытою головою [на место казни]. Так как в это время была метель и снег бил мальчику по лицу, то он несколько раз спрашивал плачущим голосом: «Куда вы несете меня?». Эти слова напоминают слова, которые поэт Эврипид заставляет произнести своего Астианакса: «Мать, сжался надо мною!» Но люди, несшие ребенка, не сделавшего никому вреда, успокаивали его словами, доколе не принесли его (как овечку на заклание) на то место, где стояла виселица, на которой и повесили несчастного мальчика, как вора, на толстой веревке, сплетенной из мочал. Так как ребенок был мал и легок, то этою веревкою по причине ее толщины нельзя было хорошенько затянуть узел и полуживого ребенка оставили умирать на виселице.

В этом случае действия русских можно всего лучше сравнить с действиями греческого флота после падения Трои, ибо то зло, которое греки терпели от сына Гектора, русские терпели от сына Димитрия, опасаясь, чтобы он не достиг зрелых лет. Доказательством этого могут служить стихи Эврипида, которые произносит Улисс по поводу тоски Андромахи, при похищении ребенка Астианакса:

*Во мне возбуждает тоску страдание матери,
но еще более во мне возбуждают тоску страдания
матерей гречанок, на несчастье которых он бы вырос».*

Однако все было не совсем так, как пишет Элиас Геркман.

Один из думных бояр — князь Осорьин, который по долгу службы присутствовал на казни, рассказывал,

что все произошло быстро и народ на площади безмолвствовал: «Воренок заслуживал *сострадания*, но не *снисхождения*».

Что же касается душераздирающей сцены с полуживым ребенком, которого «оставили умирать на виселице», то голландский поэт проявил чрезмерную доверчивость, приняв слова потрясенных очевидцев за чистую монету. На самом деле все было гораздо будничнее и страшнее. Понимая, что ребенок слишком легок для смерти, палач посадил несчастного Ивашку в мешок с камнями, а уж только после этого надел на его шею петлю. Смерть его была болезненной, но скорой.

Узнав о смерти сына, Марина Мнишек заболела и вскоре умерла.

Возможно, она была убита, хотя вряд ли: она была венчанной, законной царицей, и ни у кого не возникало возражений, когда она ставила на бумагах подпись «Марина всяя Руси».

В четверг 17 октября 1614 года был казнен палач, повесивший Воренка.

Палач был безмозглым преступником, приговоренным к казни за жестокое убийство двоих детей. Его схватили на месте преступления — он спал, положив голову на живот девятилетней девочки, которую незадолго до того изнасиловал и задушил. Вторая девочка, шести лет, лежала поблизости с перерезанным горлом.

У него был широкий приплюснутый нос, толстые выпяченные губы и маленькие глаза. На допросе он не отпирался, рассказывая об убийстве так, словно речь шла об ужине: взял, насытился, вытер руки. Он убил, потому что убил. Смертная казнь его не пугала. Он не престанно тер глаза и зевал. Похоже, спать ему хотелось сильнее, чем жить.

Боярин Осорьин, который руководил допросом, сказал про этого убийцу так: «Слишком легко, чтобы называться человеком». То есть он был существом, лишенным тяжести, которая присуща человеку, крещенному во имя Господа нашего Иисуса Христа. Проще говоря, этот убийца был лишен бессмертной души. Половицы под ним не прогибались и не трещали даже там, где откликались на поступь кошки.

Его бросили в подвал Свибловой башни. В этом месте между зубцами кремлевской стены торчали толстые бревна — на них обычно висели два-три разбойника, которых вскоре после казни сбрасывали к подножию башни на страх народу и поживу воронам. А огромные московские вороны злы и прожорливы — уже к вечеру они оставляли на месте казни одни грязные кости.

Но этот душегуб избежал свибловой виселицы. Ему, можно сказать, повезло: московские палачи все как один, даже Ахмет Свиная Голова, славившийся склонностью к труположеству, отказались вешать ребенка. Не помогли ни угрозы, ни посулы. И тогда палачом предложили стать человеку, которому все равно пред-

стояло отвечать перед Богом и людьми за погубленные детские души. Вопреки обыкновению, ему не обещали прощения за исполнение палаческих обязанностей, но прямо сказали, что вскоре после этого он будет казнен. Он поковырял в зубах и согласился, потребовав, однако, в качестве платы кусок говядины.

— Говядины? — с ужасом переспросил дьяк.

— Говядины, — подтвердил урод. — Фунт вперед и фунт после.

На следующий день он недрогнувшей рукой затянул петлю на шее ребенка, посаженного в мешок с камнями, а когда тот забился в предсмертных судорогах, вдруг склонился к его лицу. Люди, стоявшие у эшафота, замерли. Такого никто не ожидал. Обычно на людях даже самые жестокие палачи предпочитают не смотреть жертвам в глаза. Этот же не сводил взгляда с лица мальчика, искаженного смертной мукой, словно хотел получше его запомнить. Запомнить каждую черточку, каждую деталь.

Убедившись в смерти Воренка, палач передал мешок с его телом приставам.

Через два дня, в четверг, бритоголовый гигант Ахмед Свиная Голова вошел в камеру, где содержался палач, и размозжил ему голову ударом кузнечного молота. Труп безумца бросили у подножия Свибловой башни, и не прошло и часа, как московские вороны раздели тело до костей.

А в субботу 19 октября 1614 года был подвергнут казни элефант.

Слон вошел в загон, построенный специально для него, и замер, уткнувшись в стену. Загон был узким, тесным — не повернуться. Ворота за слоном закрыли и заложили тяжелыми дубовыми запорами.

Стрельцы подтащили к загону лестницы и вскарабкались на стены.

Снегопад усиливался, и при мятущемся свете нескольких фонарей и факелов нельзя было понять, что происходит на пустыре. Стрельцы наверху энергично двигались, взмахивая руками, но из-за бревенчатых стен не доносилось ни звука — ни всхлипа, ни хрипа.

— А вдруг он сейчас затрубит? — проговорил кто-то в толпе купцов.

Но ему никто не ответил.

Стрельцы били элфанта копьями и алебардами, пытаясь достать до сердца. Слон вздрагивал при каждом ударе так, что сотрясались бревенчатые стены загона. В темном тесном закуте, под снегом, продрогший и обессилевший от болезней, покрытый язвами и струпами, полуослепший и полуглухой, он был легкой добычей, но прошло не меньше двух часов, пока наконец одному из стрельцов удалось пробить элфантово измученное сердце. Слон упал на колени, уткнулся бивнем в землю и обмяк.

Снег вокруг загона стал быстро темнеть, и иностранцы бросились к Серпуховским воротам, за кото-

рыми их ждали кучера с санями и возками, а кровь шла за ними по пятам, стремительно черня снег, пока не добралась до городской стены...

До самого утра мясники разделявали слоновью тушу, чтобы продать ее по кускам в тюрьмы, на псарни и в зверинцы, а араб потерянно бродил между людьми и тихонько выл, и выл, и выл, пока кто-то не увел его в лавку, чтобы напоить допьяна, до забвенья.

Казнь эфанта была событием скорее поэтическим, нежели политическим, скорее необходимым, чем неизбежным, но без таких событий, которые часто кажутся бессмысленными, книга истории была бы если и не лживой, то неполной.

Так завершилась Смута — казнью ребенка, казнью безумца и казнью слона.

Дело графа О.

Первое сообщение об этом документе сделал профессор Х. Максимов, опубликовавший в журнале «Вестник Европы» заметку под заголовком «Доклад комиссии Лавуазье — Ловица — Буша». Это название и закрепилось за манускриптом ин-квартио из пятидесяти двух листов отличной красносельской бумаги, адресованным на высочайшее имя. В архивах сохранилось также «Дело об отравлении графа О.» — поразительное по бессодержательности собрание документов, единственное достоинство которых заключается в том, что по ним более или менее полно можно восстановить событийную канву того рокового дня, а именно 14 июля 1789 года (по новому стилю). Наконец недавно стали достоянием гласности, — хотя полностью пока и не опубликованы, — письма княгини Репниной-Давыдовой к неустановленному адресату и записки Товия Егоровича (Иоганна Тобиаса) Ловица, которые про-

ливают свет на эту загадочную историю. Письма княгини Репниной-Давыдовой, не обладающие, впрочем, особыми литературными достоинствами, ценны свидетельскими показаниями о событиях интересующего нас дня; ей же мы должны быть признательны за то, что сразу после смерти дяди она, проявив необыкновенное присутствие духа и похвальную расторопность, заставила секретаря графа снять копию с рокового письма и тем сберегла его для истории, ибо оригинал вместе с прочими бумагами покойного был опечатан и до сих пор не разыскан.

Итак, известно, что письмо принесли в тот момент, когда граф Александра Петрович, уже успевший отве-дать балыка и в меру охлажденного зеленого вина, принялся за суп. Скользя на цыпочках по вощеному паркету, слуга замер в полупоклоне перед хозяином, держа на вытянутых руках круглый серебряный поднос. Такой порядок был заведен давно и соблюдался строго: срочную почту доставляли графу в любое время и в любое место, где бы он ни находился — за обеденным или карточным столом, в оранжерее или на конюшне. Со своего места княгиня Репнина-Давыдова хорошо рассмотрела конверт из грубой желтовато-серой бумаги. Граф хлебал суп, слуга стоял в напряженной позе, руки его подрагивали. Наконец Александра Петрович кивнул секретарю, обедавшему за отдельным столом у окна. Тот вскочил, распечатал конверт и начал читать.

Княгиня вспоминает, что начало письма не произвело на нее ни самонаименьшего впечатления: набор обычных вежливых фраз. Отдадим, однако, должное ее наблюдательности: по выпренности тона и блеклой красивости фраз она поняла, что автор письма должен недурно владеть французским языком.

«И вдруг, — пишет княгиня, — граф откинулся на спинку кресла, лицо его приобрело странное выражение: смесь негодования, удивления и любопытства. Это заинтересовало меня...»

Несомненно, что секретарь перешел к той части письма, которая представляет интерес и для нас. Приводим ее с некоторыми сокращениями.

«...ненавижу вас. Я хорошо помню, граф, как вы обратили внимание на некую Дорину, коей в ту пору не исполнилось и четырнадцати лет. Вы изволили поручить ее заботам котят от вашей кабинетной кошки и щеночка от Молнии. Как трогательно ухаживала бедная девочка за животными, как любила их, — и что же? Дождавшись, когда дитя вполне полюбит котят и щеночка, вы приказали изрубить их в куски у нее на глазах. Сперва им отрубили хвосты, потом уши, лапы... Ее вы раздавили, меня — потрясли. Стал ли бы кто из ваших соседей добиваться благосклонности крепостной девки таким изощренным способом, когда довольно согнуть сиятельный мизинчик, чтобы через мгновение она исполнила любое ваше желание? О нет, по части искусства наслаждения нет вам равных. Вы наслаждаетесь даже

препятствиями на пути к цели — вы нарочно создаете эти препятствия, чтобы, преодолевая их, наслаждаться. Никому из ваших соседей и в голову не взбрело бы проводить часы отдыха на заднем дворе, с мучительным наслаждением наблюдая за плывущими в сточной канаве лепестками белоснежных роз, доставляемых из вашей оранжереи... И за это — и за это, граф, я ненавижу вас. Вы изволите обедать? Так жрите, пока не пробил час возмездия».

«Тут лицо Крокодила слегка позеленело», — не без злорадства сообщает княгиня, употребляя домашнее прозвище Александры Петровича.

«Но особой изощренности достигли вы при обольщении несчастной Эльмиры, которой имя никогда не изгладится из моей памяти. В этом предприятии помогла вам судьба — или враг человечества, не знаю уж, что вы предпочтете. Я не уверен, что вы помните имя юной поселанки, павшей жертвой ваших домогательств, но уверен, что при воспоминании об ней вы не утрачиваете своего превосходного аппетита».

«При этих словах, — пишет Репнина-Давыдова, — граф разразился негромким, каким-то дробным смехом, в котором не было ни одной живой ноты, — этот его смех обычно неприятно впечатлял окружающих, — и велел подавать жаркое. Отныне он слушал, не прерывая трапезу, ел, по обыкновению своему, жадно и много, запивая каждый кусок бургундским, и с каждым глотком бледные губы его делались еще бледнее».

«Судьба послала вам злосчастного Якопо дельи Каррарези, о коем и доньше гадают просвещенная Европа: кто же был сей художник? Шарлатан? Авантюрист? Гений злодейства? Низринутый с небес ангел? Судьбе угодно было свести вас на вечере у баронессы А. Впоследствии вы не раз говаривали, что в сем художнике вас привлекла дерзость, едва ли позволительная тому, кто надеется спасти свою бессмертную душу (художнику вообще, по вашим словам, всегда приходится выбирать между бессмертием души и искусством). Ходили слухи, что в искусстве своем он достиг пределов, самое приближение к которым чревато гибельными последствиями как для человека, так и для искусства. Говорили, например, что, будучи оскорблен неким итальянским графом, он изобразил на холсте ужасный пожар, охвативший графский дворец, и вложил в свое творение столько неистовства, столько неукротимой жажды мщения, что дворец, едва картина была завершена, вспыхнул и сгорел дотла, и в пламени погибли все, кто в нем находился. Люди волновались: если это правда, то какое отношение она имеет к правде искусства, вообще к искусству? Впрочем, иные утверждали, будто сей Якопо подкупил вероломных людей из графской челяди, они-то и подожгли дворец, дабы подтвердить слухи о роковой силе искусства Каррарези. Быть может и так, но молва сильнее истины, а непонятое любо черни, и вдвойне любо, если непонятое — ужасно. За художником тянулась inferнальная слава, слухи множи-

лись. Герцог д'Эсте, пренебрежительно отозвавшийся о работах Якопо, вскорости умер в ужасных мучениях. А в день похорон родные господина д'Эсте получили по почте картину, на которой кончина герцога была изображена в подробностях, известных лишь ближайшим покойного. Женщину, отвергнувшую искательства Якопо, он изобразил падающей в пропасть, и в тот же день мадам Б., упав с лошади, нашла смерть на дне ущелья. Итальянцы, народ вообще суеверный, изгнали мастера из своих городов.

Итак, Якопо дельи Каррарези по вашему приглашению прибывает в Парадиз. Помню ваши долгие беседы за чаем в фиолетовой гостиной. Помню, с каким непостижимым, но от того не менее чудовищным сладострастием рассуждали вы о возможностях искусства влиять на жизнь людей, цитируя при этом господ Скалигера и Минтурно, Корнеля и Кастельветро. Наконец речь зашла об Эльмире, прелестной одиннадцатилетней девочке. Мне не дано заглянуть в ту ужасную бездну, что зовется душою Якопо дельи Каррарези, и я не знаю, чем он прельстился — обещанным ли щедрым вознаграждением, возможностью беспрепятственно испытывать силу своего искусства на людях, либо тем и другим сразу, но он согласился испробовать власть своей кисти над несчастным ребенком. Вы вместе составили распорядок работы, и уже на следующий день художник приступил к делу в отведенном ему Лунном павильоне. Итальянец

был возбужден, он жаждал помериться силами с самой природой.

Эльмиру привели в павильон, и артист взялся за кисть. Да, он изобразил ее, но не девочку-бутон, а расцветающую девушку лет семнадцати во всей прелести телесных форм. Через неделю врач обследовал Эльмиру и доложил вам, что физическим развитием она соответствует своему изображению на холсте, хотя при этом испытывает боли в груди и в суставах, да и кожа, не выдержав столь быстрого роста, кое-где потрескалась и кровоточила.

Сеансы были отложены, и несколько дней Эльмиру лечили. По ночам она кричала не своим голосом, и ее мать, бедная поселянка, тайком ото всех призвала на помощь меня — я, как вам известно (как часто вы изволили шутить по этому случаю), владею даром вещего и целительного слова — по крайней мере так утверждают простолюдины. Но целитель действует в согласии с природой, а тут я был бессилен, поскольку природа Эльмиры была извращена. После следующего сеанса, когда художник изобразил пышную чернокудрую прелестницу (до того у худенькой Эльмиры были русые волосы), ваша избранница, как и в первый раз, стала такой, какую ее замыслили вы и Якопо. И после недолгого лечения вы познали ее... Зачем вы не остановились? Зачем не удовлетволялись очевиднейшими свидетельствами могущества этого страшного искусства? Едва ли не каждую неделю художник изменял обличье Эльми-

ры. Он изображал ее то изможденной монахиней, то роскошной фламандкой, то миниатюрной китайкой... Она все забыла, потеряв себя, — забыла даже имя свое, забыла матушку, близких...

Узнав об ее беременности, вы пришли в неописуемую радость, обрадовавшись новым возможностям, и в продолжение того времени, пока Эльмира носила плод, ее облик меняли особенно часто, чтобы узнать, как это отразится на будущем ребенке...

Я сам выносил вон это гологоловое, покрытое чешуей маленькое чудовище, которое цеплялось своими крохотными коготками за края ушата, силясь выбраться... слезы текли по его сморщенному личику... Граф! Клянусь спасением моей души, оно плакало! И в те мгновения даже мягкие розовые рожки у него на голове не казались мне такими уж страшными... Конюх Энди-мион порубил его топором на мелкие кусочки и бросил свиньям, но даже эти низкие животные не приняли такую пищу. Тогда останки бросили в сточную канаву. Тот вечер, как это часто бывало, вы провели на заднем дворе, бросая розовые лепестки в навозную жижу — в этой грязи был утоплен ваш отпрыск, как бы кощунственно это ни звучало...»

«Граф опять рассмеялся, — вспоминает княгиня, — и даже покачал головой. Подали сладкое и шартрез».

«Вы были захвачены происходящим — быть может, вы мнили себя Творцом? — и уже не желали останавливаться, хотя даже итальянец был явно смущен плодами

своего искусства. Однако, повинувшись вашей воле, он вновь принялся за дело. Через неделю Эльмира постарела лет на тридцать, у нее выпали зубы. Ночами она беспрестанно кричала... однажды утром в ее постели нашли обезображенный труп одиннадцатилетней Эльмиры...»

«Чтение опять прервалось, — пишет княгиня. — Граф вытер пот со лба и расслабленным голосом приказал открыть окно. Потом обратился к секретарю: «А ведь вы должны помнить этого наглеца. Но продолжайте».

«Вы живете в уверенности, что вам не грозит возмездие за содеянное. Но вы ошибаетесь! Это письмо...»

«Внезапно граф вцепился обеими руками в скатерть, — продолжает княгиня. — Стоявший перед ним бокал упал, вино выплеснулось на камзол, а секретарь тем временем продолжал читать, словно ничего не замечая».

«Это письмо — возмездие. Я все рассчитал, граф, ошибки быть не может, ибо дело совести безошибочно. Ради достижения цели мне пришлось обратить в противоположность мой природный дар и воспользоваться средствами вроде тех, коими некогда воспользовался убийца Эльмиры. Мне отмщение, и аз воздам. Этот обед станет последним в вашей жизни, ибо с каждой ложкой супу, с каждым ломтиком мяса, с каждой каплей вина — с каждым словом вы принимаете наипострашнейший яд, который убьет вас, едва отзвучит последнее слово этой эпистолы».

«И граф тотчас упал и умер, — сообщает княгиня. — Несколько мгновений мы не могли пошевелиться, пораженные случившимся. Наконец секретарь пришел в себя, кликнул слуг и склонился в поклоне передо мной — единственной наследницей графа Александры Петровича. Исполнилась последняя воля дядюшки, вырванная в его духовной. Я вздохнула с облегчением. Дело было сделано».

В своих записках Т. Е. Ловиц подробно рассказывает о переполохе, вызванном кончиной высокородного вельможи, о высочайшем повелении, в соответствии с которым авторитетная комиссия тотчас выехала в Парадиз. К тому времени были допрошены все, кто находился в имении, все, кроме Якопо дельи Каррарези: он тронулся разумом и был препровожден в скорбный приют. Комиссия, составленная из самых опытных медиков и химиков, подвергла тщательному анализу всю пищу и съестные припасы в доме, а затем исследовала печень, почки и легкие покойного, но не обнаружила даже намека на какой бы то ни было яд. Доклад комиссии Лавуазье — Ловица — Буша утонул в архиве. Высочайше было предписано считать, что Александр Петрович скончался от апоплексического удара вследствие обжорства. Т. Е. Ловиц пишет: «Убеден: анонимный автор письма вовсе и не имел в виду известный или не известный науке яд. Если уж и говорить об яде, то отысканием его следов должен заняться не химик, но историк или философ».

Аталиа

Обнаженная, верхом на страшно оскалившемся белом коне, гордо вскинутая голова с развевающимися на ветру густыми волосами, полные плечи, высокая грудь, прекрасные пышные бедра, с окровавленной саблей в правой руке, а в левой — знамя, выкроенное из белоснежной простыни с несмываемыми отпечатками двух тел, — мчалась она то ли в бездну рая, то ли в бездну ада, пленяющая почти нечеловеческой красотой, каковая иногда воспламеняет даже чудовищ, — такой запечатлел ее на гравюре анонимный голландский художник.

Ее звали Аталиа Осорьина-Роща.

Семнадцати лет она стала женой престарелого князя Осорьина-Рощи, который на другой же день после свадьбы увез свою Аталию в осорьинское подгородное имение, кишмя кишевшее нагими лакеями, развратными наложницами и их незаконнорожденными детьми,

мрачными гайдуками, ряболицыми палачами, медведями и охотничьими псами. В первый же вечер супруг подвел Аталию Алексеевну к большому, в рост, зеркалу, занимавшему угол спальни, и тоном, не терпящим возражений, велел раздеться донага, что юная супруга, не без трепета и смущения, и исполнила. Князь извлек из шкатулки кованый стальной пояс, состоявший из двух полос, расположенных под прямым углом друг к дружке, надел его на чресла супруги и запер на ключ, который повесил себе на шею. После чего велел спальным девушкам проводить княгиню в ее опочивальню и строго ее блюсти.

Так началась затворническая жизнь княгини Аталии.

Раз в месяц, в присутствии мужа, ее осматривал домашний лекарь, свидетельствовавший неубывающую девственность. Еженедельно, в сопровождении и под наблюдением супруга, она мылась в бане, оберегаемая его присутствием от нескромных шуток и алчных губ развратных женщин. И ежедневно, опять же под присмотром мужа, ее с бережением освобождали от стального пояса, чтобы, прокипятив его в трех водах и тщательно обтерев едким желтым спиртом, вернуть на место, то есть на княгинины чресла. Удовлетворенный супруг вешал ключ себе на шею и, пожелав жене покойной ночи, отправлялся в свои апартаменты.

Дни свои кроткая княгиня проводила за пальцами, в благочестивых размышлениях, под монотонное

бормотанье мальчиков, нарочно присылаемых князем читать ей Библию. Все это были его бастарды. Машинально проборматывая строки Писания, они буквально пожирали глазами юную матушку, чьи созревающие формы не могла скрыть никакая одежда. Аталия Алексеевна, однако, не обращала на молодых людей ровно никакого внимания, чем смущала острый ум и отравленное неверием сердце своего супруга, который проводил целые дни у секретных смотровых и слуховых отверстий для наблюдения за женою.

Князь Осорьин-Роща не верил юной супруге, ибо, как он утверждал, слишком знал женскую натуру, весьма подверженную зверю, потаенному в человеках. Князь боялся лишать ее девственности, ибо это означало бы открыть врата райские для других и адовы — для себя: ключарь был стар. И потому во что бы то ни стало положил он сохранить супругу девственной.

Мечта эта овладела старцем, проводившим юные годы и зрелость в блуде необычайнейшем и проводившим вечер своей жизни окруженным развращенными и погубленными им женщинами и мужчинами. Бескрайнее ложе в его опочивальне каждую ночь делили с ним пятнадцатилетние девочки-рабыни, мочившиеся под себя из страха пред его руками, и пятнадцатилетние мальчики, под утро таки добравшиеся, на потеху барину, до жидкой девичьей плоти. Иногда в этих игрищах участвовали и мрачноватые гайдуки, что придавало пасторальному действию привкус жестокости и крови.

Тех же, кто не выдерживал этого испытания, заключали в высокие стеклянные сосуды, наполненные едким желтым спиртом, и выставляли за китайские ширмы тут же, в спальне. И если князь вдруг оказывался во власти черной меланхолии, он приказывал засветить в «кунсткамере» разноцветные фонарики и часами бродил между стеклянными сосудами, напоминая храмовые колонны, бродил, молча взирая на эти фигуры с чуть приподнятыми, как бы оттопыренными задницами, безвольно висящими ногами и искусно раздвинутыми в улыбке губами, взирая на мертвецов, пливших в жгучей влаге вечности под мерный бой часов, доносившийся из темной глубины дома...

Ничего этого Аталия Алексеевна, разумеется, знать не могла. Со временем она все глубже погружалась в пьянительные библейские воды, все чаще воображала себя Христовой невестой, чьи губы и плечи, все более мешающие груди и вызревающие в чистоте бедра, чьи сновидения, страхи и надежды превращались в роскошный букет на ночном алтаре Жениха.

Чаще всего князь-супруг присылал к ней самого нелюдимого из своих незаконных сыновей, с императрицына соизволения получившего имя Сорбин. Этот юноша чурался утех отцовского дома, со страстью предавался лишь наукам и не скрывал неудовольствия, когда отец в очередной раз приказывал «почитать матушке». Но именно в его присутствии изящный итальянский

табурет под юной княгиней превращался в раскаленную сковородку, в то время как Сорьин, думая о чем-то своем, равнодушно бормотал сквозь зубы: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими, волоса твои, как стадо коз, сходящее с горы Галаадской...»

Месяцами длилась эта пытка, усугублявшаяся сновидениями.

Вот таким же равнодушным тоном и поведал он ей однажды о замысле, созревшем в угрюмом мозгу ее супруга. Перебрав все возможности сбережения княгинино целомудрия, князь решил обратиться к помощи искусного английского хирурга Джошуа Морлея, который письмом сообщил о готовности осуществить уникальную операцию, преследующую цель вывести мочепроводящую жилу в задний проход и сделать женское место навсегда неприступным, как бы несуществующим.

— Как у лягушки, — уточнил Сорьин голосом человека, у которого болят зубы.

Княгиня посмотрела на него в упор — так, что у него и впрямь заболели зубы, и невинным голосом осведомилась, ткнув пальчиком в лежавшую перед Сорьиным книгу:

— Что же дальше?

Юноша возрился на нее с изумлением и едва нашелся прошептать: «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами».

Она кивнула и, глядя все так же в упор, задумчиво проговорила: «Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других... я вам верю».

Приличной улыбкой и согласным молчанием ответила она на известие о приезде в имение знатного английского ученого Джошуа Морлея. В первый же вечер он подверг ее тщательнейшему осмотру и остался вполне удовлетворен увиденным.

Когда на следующий день князь Осорьин-Роща и доктор Морлей без доклада, по-деревенски, явились в ее покои, княгиня сидела за пяльцами. Она обвела вошедших внимательным и спокойным взглядом. От нее не укрылось, что гайдуки за князевой спиной прячут что-то в рукавах.

— Доктору угодно осмотреть тебя еще раз, — сказал князь. — Изволь, душа моя.

— Ваша? — княгиня вскинула брови. — Тогда прощайте!

И, выхватив из-под себя два огромных уродливых пистолета, выстрелила мужу в сердце.

С этого выстрела и началась другая жизнь княгини Осорьиной-Рощи.

Едва окружающие пришли в себя, как она приказала поместить тело мужа в стеклянный сосуд с едким желтым спиртом и выставить в «кунсткамере», а доктора Морлея посадить на цепь в одном из потайных покоев.

Тем же вечером она призвала Сорьина в мужнину опочивальню.

Китайские ширмы были свернуты, разноцветные фонарики возжены. Молодой человек пришел в ужас от необыкновенного зрелища: на краю постели сидела прекрасная обнаженная женщина, чьи чресла были схвачены сталью; вокруг высились стеклянные сосуды, ближайший заключал в себе князя Осорьина-Рощу — со вздернутой задницей, безвольно висящими волосатыми ногами и искусно сделанной улыбкой на устах; в груди его зияла двойная рана.

— Отоприте! — велела княгиня, протягивая юноше ключ.

Наутро она велела ему немедленно покинуть дом.

— Уедем! — воскликнул он, припав к ее коленям. — Уедем в Европу... в Париж! Там будет царство нашей свободы!

— Париж... — задумчиво повторила княгиня. — Это далеко от России?

— К счастью!

— Но тогда как же там может быть царство нашей свободы?

И как ни умолял он ее о снисхождении, княгиня осталась непреклонной. Глядя на икону с изображением Спасителя и загадочно улыбаясь, она проговорила:

— Мы никогда не расстанемся и никогда не забудем друг друга. Возьмите, — она протянула ему ключ. — Но для этого вы должны уехать.

Гайдуки усадили безутешного Сорьина верхом и хлестнули коня...

А когда они вернулись, хозяйка отдала приказание, поразившее их точно громом, — однако послушаться не осмелился никто.

И спустя час в барскую опочивальню потянулись мужчины, сколько их ни было в имении, и всем — и хромому сапожнику, и палачу с лицом из сырого мяса, всем, всем — отдалась прекрасная княгиня на ложе в «кунсткамере». Пред тем каждому выдавалась чара крепкого вина, и иные подходили к ложу в другой раз, чтобы уже с дерзостью овладеть этим телом и дыша перегаром, выкрикнуть непристойность в коралловое ушко. Хребет ей стерли в кровь. Невзирая на то что дважды в сутки она прерывалась на еду и краткий сон, Аталия Алексеевна исхудала до кости и под конец пятых суток несколько раз впадала в обморочное состояние, так что лекарю пришлось остановить происходящее своею властью.

Около месяца не показывалась на люди княгиня, а когда наконец явилась, все были поражены: глаза ее весело блистали, ямочки на румяных щечках смеялись, и осорьинские изумруды, украшавшие прическу, светились особенно тепло и ярко. Люди облегченно

завздыхали и заулыбались, между прочими и один конюх, вообще отличавшийся веселым нравом, да вдобавок вспомнивший, как еще недавно эта женщина глухо стонала в его объятиях, и подмигнувший ей. Негромкий выстрел прервал становившееся дерзким веселье. Конюх-весельчак рухнул с черной дыркой во лбу. Ужас, смешанный, однако, с темным восторгом, охватил присутствующих. Княгиня враз сделалась обожаемой и страшной владычицей. И в тот же день железной своей ручкой взялась она за управление огромным своим имуществом и тыщами людских душ. Никто, однако, не знал, что тем утром, взглянув на иконку, Аталия Алексеевна увидела лишь нестриженный затылок Христа: Спаситель отвернулся от нее.

Не прошло много времени, как дом ее превратился в вертеп. Каждый вечер в ее покоях, среди высоких стеклянных сосудов, устраивались оргии, в которых участвовали самые красивые девушки и женщины, самые неутомимые и способные к блюду мужчины. Наутро некоторым из них бесстрастный палач с лицом из сырого мяса резал языки, иных запарывали на конюшне. Гайдуки рыскали по окрестностям и доставляли княгине прохожих и проезжих. После буйного пиршества и головокружительных забав гости нередко просыпались в объятиях медведя или под копытами огромных свиней, обитавших в мрачных подземельях осорьинского дома и питавшихся человеческим мясом.

Слухи о бесчинствах молодой вдовы дошли до государыни. В Осорьин была послана комиссия под началом князя Потемкина.

Как только одноглазый красавец переступил порог осорьинского дома, навстречу ему из других дверей вышла процессия людей в черном, со свечами и иконами, с монахами и попами, со стенаниями и заунывным пением. Двадцать двухсаженных гайдуков несли на плечах широкие носилки с телом прекрасной владелицы имения.

Потемкин грозно нахмурился и жестом велел опустить носилки.

Обнаженная женщина дивной красоты, едва прикрытая прозрачным газом, лежала со скрещенными на груди руками. Ниспадавшие на плечи волосы ее были украшены цветами картофеля. Потемкин опустил на колено и откинул газ с ее лица.

— Диво! — восхищенно прошептал он.

Внезапно раздался странный мелодичный звук, сопровождаемый, однако, слишком знакомым всякому запахом.

Потемкин вскочил и обвел людей недоуменным взглядом.

— Но она, кажись, бздит! — воскликнул он.

— Только из почтения к вам, любезный Григорий Александрович! — Прекрасная «покойница» перевернулась на живот, явив взорам петербургских гостей отлично выпеченные ягоды. — При сем обратите

внимание на крохотную серебряную флейточку, вставленную в известное отверстие и облагораживающую звуки естества. — Она кокетливо подняла ножку и вторично издала нежный звук. — Не желаете ли испробовать, Григорий Александрович?

Потемкин хохотал как безумный. В ту же минуту участь княгини была решена. Григорий Александрович провел в имении месяц. В качестве отчета о поездке он привез в подарок государыне крохотную серебряную флейточку, вызвавшую во дворце фурор и заставившую забыть о проказах княгини Осорьиной.

Более тридцати лет предавалась она неистовому блуду. Иные ее привязанности длились годами, иные — часами; разная была и награда: от драгоценностей и рабов до урезания языков и медвежьих объятий. С годами вместе с угасанием тела гасла и потребность в мужских ласках, которым все чаще предпочитались ласки женские и скотские, для чего в богато убранном деннике содержался ученый осел Соломон, а в роскошной будке — дог Давид. Однако страстно увлекшийся ею именно в те годы князь Понятовский сделал в своем дневнике запись следующего содержания: «Она брюнетка, ослепительной белизны. Брови у нее черные и очень длинные, нос греческий, рот как бы зовущий для поцелуя, рост скорее высокий, тонкая талия, легкая походка, мелодичный голос и веселый смех, как и характер». Ему, впрочем, возражает французская художница Ви-

же-Лебрен, писавшая ее портрет и утверждающая, что Аталия Алексеевна «очень низкого роста».

Весною 1774 года войска очередного русского самозванца Емельяна Пугачева придвинулись близко к границам владений княгини Осорбиной-Роши. Понимая, что пощады ей от государя-разбойника ждать никак нельзя, Аталия Алексеевна велела собираться в отъезд.

В тот вечер она была проста и тиха, почти ничего не ела и вконец растрогала челядь милосердным обращением и кротостью, которая, вообще говоря, была не в ее нраве. Оставшись в спальне одна, она тяжело опустилась на табурет перед зеркалом. Оно отразило лицо немолодой усталой женщины, вынужденной пускаться в ухищрения для сокрытия своих лет. Сердце ее сжалось. И долго сидела она неподвижно, чувствуя, как пустеет ее сердце и заволакивается туманом душа.

Внезапно со двора донесся шум. Княгиня прислушалась.

Кто-то громко выругался; всхрапнули лошади; пришибленно завизжала собака; охнула и быстро побежала сенная девушка; с грохотом распахнулась дверь спальни.

— Кто тут? — вскинулась княгиня.

Твердым, уверенным шагом приблизился к ней громадный мужчина с ключом вместо креста на шее — и тело ее тотчас узнало его, и горячим воском наполнились увядающие груди, и тугим шелком натянулся ее живот.

— Господи! Откуда ты?

— С вершины Аманы! — прохрипел он, одним движением разорвав на ней пеньюар. — С вершины Сенира и Ермона! — выкрикнул он, швыряя ее на постель. — От логовищ львиных, от гор барсовых! — прошептал он, погружаясь в нее, как в бездну.

Семь дней и ночей, без еды и сна, предавались они плотским воспоминаниям о той ночи любви, которая однажды развела их на долгие годы. Семь дней и ночей, без еды и сна, и на восьмой княгиня вспомнила все. И поняла также, что отныне до смерти обречена этому мужчине. Без ужаса и удивления внимала она его рассказам о странствованиях по Европе, о дуэлях и войнах и о том, что вот уже полгода, как служит он под знаменами Емельяна Самозванца, который пожаловал его чином полковника.

— Что ж, — только и молвила она, — значит, умереть мне полковницей.

Утром восьмого дня она собрала всех своих слуг, гайдуков и егерей и передала их под начало полковника Сорьина, передала вместе со знаменем — белой шелковой простыней, на которой за семь дней и ночей ало отпечатались ее ягодицы, спина с горошинами позвонков и круглые пятна от стертых в кровь его коленей.

Так началась третья жизнь княгини Осорьиной-Рощи.

Спустя два месяца поручику Измествьеву удалось хитростью заманить «полковника» Сорьина в засаду и захватить живым в плен. Его пытали и казнили на ба-

зарной площади городка Осорьина. Аталия Алексеевна попыталась выкрасть тело возлюбленного, для чего подослала к палачу лазутчиков с мешком червонцев, однако единственное, что ей удалось, так это выкупить у ката один сорьинский член. Поместив его в стеклянный сосуд, наполненный едким желтым спиртом, Аталия Алексеевна уединилась в черном шатре и провела в полном одиночестве три дня и три ночи. Но никто не слышал ее рыданий.

Спустя четыре дня сотня черных всадников ворвалась в имение Измestьевых и уничтожила всех, не щадя ни брюхатых баб, ни малых детей. Впереди на страшно оскалившемся белом жеребце летела княгиня Осорьина-Роща — с окровавленной саблей в правой руке и смоляным факелом — в левой. Поручик Измestьев, чью молодую жену княгиня-«полковница» швырнула на растерзание гайдукам, а потом умертвила, поклялся изловить злодейку.

Смерчем, вихрем неслась по России Аталия Осорьина-Роща, не ведавшая жалости мстительница, чье имя наводило ужас и на кротких поселян, и на петербургских придворных. Ночами она уединялась в черном шатре и близко не подпускала ни одного из мужчин.

Днем ее видели на белом жеребце, с тяжелой саблей в руке. За нею несли знамя — шелковую простыню с несмываемыми отпечатками двух тел...

В то же время в осорьинском Крестовоздвиженском монастыре ею была устроена община свободной жизни,

члены которой вместе обрабатывали землю, ухаживали за скотом и не имели венчаных жен, ни мужей, но жили кто с кем хотел.

Наконец осенью 1775 года команда поручика Измесьева настигла поредевший отряд «полковницы» и вынудила его к бою. Сражение было тяжелым, ибо никто из разбойников не желал попасть в солдатские руки живьем. В том бою княгиня лично зарубила драгуна, но была ранена, схвачена и доставлена в Петербург.

Несколько месяцев ее держали в крепости и допрашивали в секретной канцелярии. Видевший ее тогда Гавриил Державин писал: «Женщина весьма бела и дородна, с вислым брюхом и толстыми ляшками, из коих на левой, снутри, родимое пятно... взор, однако, блистающий, ум злобной и едкой...»

Иною предстает она на страницах Записок графа Измесьева, сочиненных им на склоне лет: «Я вошел в камеру и увидел ее. Женщина совершенно невиданной красоты, невзирая на весьма зрелые лета. А вскоре я убедился и в ее глубоком уме... я забыл о разности возрастов, я забыл, что предо мною — убийца обожаемой моей супруги... я был потрясен и покорен одним звуком ее голоса... О если б! — подумал я невзначай, но тотчас прогнал мечту...»

Из тюремного затвора она писала послания императрице, которая, в свою очередь, сообщала о них своему другу барону Гримму: «Острый ум этой нежелательницы добра никому вызывает одновременно ужас

и сострадание. Безбожие ее очевидно, а как нет ничего преступнее для Россиян в нынешнем их состоянии, то и княгиня Аталия вполне являет собою порождение дьявола. Вот, барон, образчик ее измышлений: «Россия есть душа, живущая грезой о теле, о воплощении, коего лишена она от истоков своей исторической жизни. Отсутствие свободы не позволяет душе воплотиться. Я разумею свободу тела, без коей свобода души есть лишь свобода веры, дикого бунта и бескостных видений... Отечество свое человек понимает лишь чрез свое устройство и бытие. Однажды я обрела свободу плоти, совершенно противоположную свободе блуда, в коем я жила годами, полагая свободою, — и вместе со свободой плоти обрела свободу души — Боже! никому же не ведомо сие чувство гармонической радости, испытанное мною с моим супругом-разбойником!.. Мы же презираем и боимся тела лишь из страха пред свободой. Мы не знаем, как научиться не бояться себя, своей воли, своей истории, своего Отечества, своего будущего...» Как явствует из ее писаний, сия Антихристианка в пылу еретичества своего изобличает себя как наиопаснейшая врагиня Веры, Власти и России».

Невзирая на происхождение, княгиня Осорбина-Роща, ввиду небывалости и умственной мерзости свершенных ею преступлений, была приговорена к площадной казни четвертованием. Государыня наблюдала действие из-под навеса нарочно устроенной беседки.

Граф П. для потехи велел доставить государыне стеклянный сосуд с известным членом, извлеченным из княгининой шкатулки. Забава привела императрицу в восторг и весьма развлекала ее, в то время как огромная толпа на площади громко приветствовала ловкость дюжего палача. Швырнув обрубок белого тела на плаху, палач одним ударом отсек злодейке голову. Над плечами ее вздулся розово-фиолетовый пузырь, который палач для смеха проткнул перстом. Против ожидания, однако, из отверстия не хлынула кровь, но выпорхнула златоклювая птица, прынувшая ввысь и накрывшая тенью своих крыл многотысячную толпу. В страхе и смущении люди повалились на колени, торопливо крестясь и зажмуриваясь. От неожиданности и смущения сотворила крестное знамение и государыня — рукою, в коей по забывчивости был зажат известный член.

Душа же княгини Аталии отлетела, как отлетела и златоклювая птица, — к вершинам Аманы, к вершинам Сенира и Ермона...

Добела, но не дочиста

Князь Алексей Алексеевич Осорьин пил утренний чай у открытого окна, выходящего в сад, и любовался только что распустившимися розами и гортензиями.

Лето стояло жаркое, грозное, пышное — роскошное.

На столе шевелилась от ветерка газета, придавленная ножом с резной костяной ручкой. Антитурецкое восстание в Герцеговине, осада Требинье, Селим-паша, Джован Гутич, храбрые черногорцы, низамы и башибузуки, славянское единство — об этом говорила вся Россия. В газете писали о воодушевлении, которое охватило русское общество, о сборе средств в помощь восставшим братьям-славянам и отправке в Герцеговину добровольцев. Князь Осорьин не разделял всеобщего энтузиазма. Около тридцати лет он проработал на Певческом мосту, в Министерстве иностранных дел, где до сих пор вспоминали его хлесткое *воп тот* о славянском

братстве, которое крепко до первого французского кредита.

Рядом с газетой лежал новый роман Достоевского «Подросток», прочитанный наполовину, с закладками. Алексей Алексеевич подозревал, что чрезмерная религиозность рано или поздно доведет писателя до какого-нибудь протестантизма, ставящего личность выше мира, и считал, что православное чувство не может приноситься в жертву христианским идеям. Но при этом, однако, он высоко ценил автора «Преступления и наказания», описавшего случай идейного, умственно-го убийства, у которого — в этом Осорьин был убежден — большое будущее в России.

Алексей Алексеевич закурил папиросу, взял со стола папку и углубился в изучение бумаг. Это были брульоны — черновые наброски плана преобразований, которые Осорьин намеревался затеять в своем имении.

В комнату скорой бесшумной походкой вошел Илья Заикин, управляющий — молодой, грамотный, красивый и лихой мужчина двадцати девяти лет, из крестьян. Собственно, все эти планы преобразований в имении он и составил.

— Алексей Алексеевич! — Управляющий был явно взволнован. — Мужики с Красного ручья прибежали, говорят, у них там чудо обнаружилось!

Осорьин поднял бровь.

— Женщина, ваше сиятельство. — Заикин развел руками. — Баба.

Осорьин выжидательно молчал.

— И не просто баба, а — гора, Алексей Алексеевич. Мужики говорят, росту в ней аршин двадцать с лишком, а потянет пудов на пятьдесят! Откуда взялась — неизвестно. Страсть, ваше сиятельство, прямо страсть!

Илья был человеком непьющим, трезвомыслящим до некоторого цинизма и хорошо знающим, когда с бариним можно и пошутить, а когда лучше помолчать.

— Так... — Осорьин нахмурился. — Значит, баба...

— Мужики беспокойны, — Илья усмехнулся. — Пятьдесят пудов кого хочешь с ума сведут.

Алексей Алексеевич вздохнул. Он давно понял, что чудо — самое опасное оружие не только в руках власти, но и в руках толпы, и на то он тут и власть, чтобы толпу не вооружать.

— Ну что ж... — Князь встал. — Делать нечего...

— Уже знаете про Елизавету Ивановну? — Илья кивнул на газету.

— Вели заложить бричку, Илья.

Через полчаса они уже ехали вдоль реки, конь бежал бойко, управляющий улыбался, Алексей Алексеевич думал о газетной заметке, в которой сообщалось о его двоюродной сестре — Елизавете Ивановне фон Дернберг, зверски убитой крестьянами.

Газета напоминала читателям о том, что старушка-помещица построила на свои средства школу для деревенских детей, больницу, обновила сельскую церковь

и т. д., и т. п. и могла бы считаться благодетельницей для своих убийц. Убийство было бессмысленным и беспощадным: мужики напились, изнасиловали в барском саду молоденькую горничную, а потом, чтобы никто не узнал, зарезали и девушку, и ее хозяйку. На суде они говорили, что их «бес попутал», что Елизавета Ивановна была «доброй матушкой», плакали и каялись. А еще говорили, что убили «от стыда» и что от стыда «творят еще и не такое, страшнее».

Один из адвокатов заявил, что крестьяне «мстили за многовековое унижение народа», что они скорее жертвы обстоятельств, жертвы среды, превратившей их в людей, отравленных исторической жестокостью и неспособных отвечать за свои поступки, и т. д., и т. п.

Прокурор, однако, напомнил, что в суде, как и на Страшном суде, ответ держит не среда, не история, но человек, историей же можно объяснить преступление, но не оправдать преступника, и т. д., и т. п.

Адвокату аплодировали, а сравнение со Страшным судом вызвало в зале смех.

Огромное состояние, оставленное Елизавете Ивановне покойным мужем, она тратила на благоустройство крестьянской жизни, ни на минуту не задумываясь об отдаче, то есть была мечтой вороватых управляющих, которых у нее перебывало без счета. По вечерам баронесса фон Дернберг читала крестьянским девушкам Жорж Санд, Шиллера и Чернышевского. Девушки по-

тели, толкались, хихикали и косились на окна, в которые заглядывали парни.

Алексей Алексеевич любил сестру и не вмешивался в ее жизнь, но иногда полушутя-полусерьезно напоминал ей о том, что урожденной княжне Осорьиной не следовало бы забывать о том, что одинаково сильная тяга и к небесной любви, и к земной справедливости нередко превращает русского человека в опаснейшее чудовище. «В России жить — по-русски выть», — заключал Алексей Алексеевич, понимая, однако, что говорит впустую.

Усилием воли он отогнал мрачные мысли о бедной сестре.

Вдали показались кроны старых буков, посаженных еще дедом — своенравным князем Осорьиным-Кагульским, победителем турок. С той войны князь привез дюжину ковров, несколько мешков кофе, а также юную турчанку и осла, крестив обоих по православному обряду. Осел вскоре сдох, а вот турчанка нарожала красивых дочерей, которым императрица разрешила носить фамилию Сорьиных. Одна из них жила неподалеку, но Алексей Алексеевич не поддерживал с нею и ее дочерью никаких отношений.

— Приехали, — сказал управляющий. — Вон там, за ивами, ваше сиятельство!

Красный ручей протекал у подножия высокого холма. Берега ручья густо поросли ивняком — за ним, на другом берегу, угадывалось что-то огромное и белое.

А на этом берегу егерь Кузьма и двое объездчиков с ружьями сдерживали довольно большую толпу мужиков, собравшихся посмотреть на чудо.

Алексей Алексеевич направился к толпе, отметив сразу несколько чужих лиц и Сычика, сутулого юношу, бывшего семинариста, который служил в школе, построенной два года назад князем Осорьиным в имении.

Завидев барина, мужики поснимали шапки, Сычик поклонился с кривой своей всегдашней ухмылкой — Алексей Алексеевич сдержанно кивнул.

— Мы там мостик положили, ваше сиятельство, — негромко сказал егерь Кузьма. — Семен проводит.

Семен, сын егеря, первым вошел в ивовые заросли, показывая дорогу.

Князь Осорьин был суховато-сдержанным человеком. На войне он привык к опасности, на дипломатической службе — к безжалостности. Он дважды ходил в штыковую атаку, усмирал крестьянский бунт, встречался лицом к лицу с разъяренным медведем, а однажды в Италии ему пришлось принимать роды — это было самым страшным, самым ярким событием в его жизни. Но то, что он увидел на другом берегу Красного ручья, не шло ни в какое сравнение даже с родами.

В траве у подножия холма на боку лежала женщина с детским лицом. Существо женского пола, мысленно поправил себя князь Осорьин. Он прикинул на глаз: росту в ней действительно было метров пятнадцать, а веса — не меньше тонны. Она лежала на боку, лицом

к Осорьину, и улыбалась во сне. Женщина была гармонично сложена, у нее были красивые колени и груди, чистая белая кожа и здоровые блестящие рыжие волосы.

Управляющий исподтишка наблюдал за баринном. Алексей Алексеевич всегда был для Ильи Заикина воплощением спокойствия, ясности и твердости, но сейчас барин был не в себе: спокойствие его было явно деланым, фальшивым — управляющий это скорее чувствовал, чем понимал, и это его тревожило.

— Малюточка, — вдруг прошептал за спиной Осорьина сын егеря.

Алексей Алексеевич вздрогнул, удивленным взглядом окинул парня, словно не понимая, откуда тот вдруг взялся, кивнул управляющему, и они быстро, почти бегом поднялись на вершину холма, откуда открывался вид на пойму, извилисто прорезанную Красным ручьем.

— И что с ней делать? — спросил Илья задумчиво, искоса поглядывая на барина. — Баба — и не баба. Как к такой подойти? Никак! Ни обнять, ни поцеловать, ни здравствуйте... досадно!

Управляющий был грозой женского населения округа — это была единственная его слабость: не пропускал ни одной юбки, из-за чего у него то и дело случались стычки с мужиками, помещичьей мелочью, жившей по соседству, и с ананьевским священником, отцом семи дочерей-хохотуний.

— Первым делом надо бы ее прикрыть, — сказал Осорьин. — Парусиной какой-нибудь... кажется, в амбаре что-то было...

— От шара осталась, — сказал управляющий. — От Катерины Алексеевниного шара. От Астры.

Лет пятнадцать, наверное, назад младшая дочь Осорьина — Катенька, Катерина Алексеевна — загорелась очередной мечтой и построила воздушный шар, на котором дважды облетела окрестности, а потом, как это у нее было заведено, остыла, занялась живописью, и оболочку шара отправили в амбар, где она громоздилась среди старых хомутов, попон и прочего хлама. На шаре была сделана надпись — *Per aspera ad astra*, вот крестьяне и прозвали воздухоплавательный снаряд Астрой. Материала, валявшегося в амбаре, должно вполне хватить, оставалось только его разрезать и доставить сюда, к Красному ручью.

Илья Заикин тотчас отправился в имение.

Алексей Алексеевич еще раз обошел женщину кругом. Откуда она взялась, как и почему оказалась здесь, на берегу Красного ручья, — эти вопросы его вовсе не волновали, он думал о другом — о соблазне. Эта женщина была воплощенным соблазном — соблазном *ap sich*. В своей жизни князь Осорьин знал немало соблазнительных женщин, но все они были в той или иной степени доступны. Малюточка же была соблазнительна, но совершенно недоступна, недоступна физически, физиологически — нормальный мужчина не мог

ею овладеть. Она вызывала желание, но это было самое безнадежное и мучительное из желаний — желание без удовлетворения. Будь она сделана из мрамора, не возникло бы и мысли об этом, но эта женщина была из плоти и крови, от нее веяло жаром, она источала будоражащий запах скипидара — запах похоти.

Человек рано или поздно смиряется с недоступностью прекрасного — так рождается искусство. И чем более недостижимо прекрасное, тем выше искусство. Но стоит человеку почувствовать, что красота обладает человеческой природой, как в нем просыпается зверь. Не потому ли люди так спокойны в картинных галереях и так смущены, когда встречаются с музыкой или прекрасной женщиной? Алексею Алексеевичу вдруг вспомнился ночной разговор со старшим братом, когда они — Алеше тринадцать, Федяне пятнадцать — лежали в траве и смотрели на звездное небо и разговаривали о Боге, вечности, красоте, и Федяня сказал: «Эти звезды, планеты, туманности — как же все это прекрасно, захватывающе прекрасно, но иногда я думаю, что там, среди звезд, нет ничего, кроме ледяной смерти и пустоты, и разве хватит у человека сил объять все это, и разве может быть прекрасным то, на что у нас никогда не хватит никаких сил? Это как музыка, страшнейшая из иллюзий, сотканная из тех же звуков, что и человеческая речь или бессмысленный скрип половицы... все то же самое, но не такое же... и это, братец, раздражает

иногда сильнее, чем несправедливое налогообложение или самодурство тирана...»

Он понимал, что простейшим и самым верным выходом будет отправка этого существа в Москву под охраной полиции. Сегодня же надо пригласить в имение станowego пристава Сергея Михайловича Муравьева, которого все уважали за здравомыслие и твердость, и они решат, как это сделать. Князь был готов взять на себя большую часть расходов по транспортировке этой женщины в Первопрестольную. Большая прочная клетка, запас провизии, а также прокорм для лошадей и полицейских чинов... День-другой понадобится, чтобы добраться до железной дороги, затем часов шесть-семь поездом, а там пусть сдадут ее в университет, может быть, на медицинский факультет... Пожалуй, можно написать об этом чуде московскому генерал-губернатору князю Долгорукову — Осорьин хорошо знал Владимира Андреевича еще по польской кампании...

— Да-да, избавиться, — пробормотал он, глядя на женщину. — И как можно скорее...

Перешел по мостику на другой берег, поискал взглядом — егеря подбежал, расстелил на траве в тени свой плащ.

Алексей Алексеевич опустился на плащ, закурил и протянул открытый портсигар Сычику.

Юноша вспыхнул, прикурил, процедил сквозь зубы:
— Благодарствуйте.

— Что это за люди среди наших? — спросил князь. — Откуда?

— Говорят, с Мамаевской лесопилки.

— Далеко ж их занесло...

Сычик пожал плечами.

Князь относился к тем немногим людям, которые умели необидно молчать в присутствии хорошеньких женщин и врагов. Сычик же в этом смысле был полной противоположностью Осорбина: принимая любое молчание на свой счет, он становился иногда болтливым до степени крайней, неприятной даже ему самому. Избегая называть Осорбина «князем» и «вашим сиятельством», он завел разговор о женщине, которая спала по ту сторону ручья. Как мыслящий человек он, разумеется, отвергал всякое чудо и все сказки о великанах, а пытался дать этому феномену реалистическое объяснение. Гигантизм, сказал он, есть явление, несомненно, болезненное, результат неестественного развития организма, приводящего не только к физическому уродству, но и к умственной неполноценности. Такие особи бесполезны для общества, продолжал он, поскольку не способны ни к духовной жизни, ни к производительному труду и годятся разве что для развлечения праздной публики в цирках или зоопарках...

— Но она красива, согласитесь, — заметил Алексей Алексеевич. — Очень красива...

Сычик запнулся, фыркнул, но решил не вступать в спор. Он знал, что на его реплику «красотой голод-

ных не накормишь» князь отвечать не станет, только пожмет плечами.

— Но гораздо больше меня волнует другое, — задумчиво проговорил Осорьин. — Что она станет делать, когда пробудится?

Учитель вздохнул и опять промолчал.

При всей склонности к замшелому эстетизму князь Осорьин на удивление часто демонстрировал приземленный, прагматический взгляд на жизнь. Иногда он заходил в школу, бывал на уроках, но никогда не вмешивался в преподавание, был доброжелателен и сдержан. Лишь однажды заметил, что не имеет ничего против любви к Некрасову и сочувствия горькой народной доле, но было бы неплохо научить крестьянских детей пользоваться мылом и ухаживать за зубами. Сычик тогда возмутился, вскипел, взвинтил себя до высокой ноты и чуть не сорвался в крик: «Внешние улучшения важны и полезны, но стократ важнее открыть мужику глаза на его жизнь, на его внутренний мир, где и таится настоящее чудо, способное преобразить отечество!» Князь пожал плечами и проговорил бесстрастным тоном: «Что ж, Петр Иванович, воля ваша, только не забывайте о том, что чудо и чудовище в русском языке вовсе не случайно растут из одного корня».

В такие минуты Сычик ненавидел Осорьина. Ненавидел вдобавок еще и за то, что его, бедного учителя, тянуло к этому старику, который всем своим видом, манерами и образом мыслей являл блестящий образец

настоящего господина всего сущего, перед которым меркли и терялись все эти хозяева жизни — купцы, приказчики, дельцы-нувориши, кулаки. Объяснялась эта тяга, к стыду и огорчению Сычика, кровным родством, о котором шептались крестьяне и дворовые Осорьина. Люди считали Сычика правнуком князя Осорьина-Кагульского, незаконным сыном той самой Сорьиной, которая жила с дочерью на границе осорьинского имения. Сычик вырос в семье ананьевского пономаря Сычева, не знал ничего определенного о своих настоящих родителях и с горделиво-горестным чувством называл себя человеком нового племени, родившимся из тысячелетней русской плесени. Иногда он ловил на себе внимательный взгляд князя Осорьина, и его охватывало странное чувство, которое он старался подавить, чтобы не расплакаться, чтобы не броситься старику на шею, чтобы не прирезать его турецким кривым ножом, который всегда носил с собой, не обращая внимания на насмешки людей, которые знали, что Сычик и курицу не зарежет, даже не потопчет...

Толпа у ручья вдруг загомонила, заволновалась.

Князь поднялся, увидев управляющего в бричке и несколько телег с грузом, которые приближались к Красному ручью.

Заикин спрыгнул на землю.

— Успеете до заката? — спросил Осорьин.

— Должны, ваше сиятельство, — весело ответил управляющий.

Алексей Алексеевич легко вскочил в бричку, разобрал вожжи.

— Подвезти? — спросил он учителя.

— Спасибо, не надо...

Осорьин поманил управляющего и, когда тот подошел, проговорил вполголоса:

— Думаю, надо бы надежных людей вокруг поставить, чтоб не случилось чего... не нравятся мне эти, с Мамаевской лесопилки...

— Да я сам покараулю, — сказал Заикин. — С егерями за компанию — у них ружья...

— А сам скачи в уезд, — сказал князь. — Как только тут справишься, сразу в уезд, не мешкая, расскажи становому обо всем и проси его без промедления сюда. — Наклонился к управляющему: — Надеюсь на тебя, Илья Дмитриевич.

Заикин вмиг посерьезнел — князь никогда еще не обращался к нему по имени-отчеству — и ответил в тон барину, так же твердо и тихо:

— Можете не беспокоиться, Алексей Алексеевич.

Осорьин поднял вожжи, конь влег в хомут и легко понес бричку по узкой полевой дороге.

— Соблазн, — задумчиво проговорил Алексей Алексеевич, глядя на Евгению Георгиевну Вольф, которая сидела напротив. — Соблазн, искушение, Евгения Георгиевна, вот что это такое. Воплощенный соблазн. Ärgernis an sich!

Старушка подняла голову, улыбнулась и сказала:
— Будет гроза.

На тарелке перед ней лежало печеное яблоко — это был обычный ее ужин.

Вот уже двадцать лет полувыжившая из ума гувернантка, хорошо помнившая те времена, когда дед Алексея Алексеевича был «заносчивым юнцом», страдала странной формой глухоты: она ничего не слышала при свете дня, зато в темноте могла по звуку шагов определить, кто из слуг крадется в гости к Жу-Жу, распушенной внучке кривого конюха. И если нужно было сообщить старушке что-то важное, в ее комнате попросту задували свечу.

Князь допил вино, пожелал Евгении Георгиевне спокойной ночи, поднялся к себе, сел за стол, отодвинул Достоевского, открыл дневник в кожаном переплете, закурил и выпустил дым в открытое окно.

О да, соблазн, искушение, Ärgernis, жуть и погибель. И у этого соблазна было имя — Софочка, страшная тайна, *point faible* Алексея Алексеевича Осорьина. Софочка Яишникова, вдруг воскресшая на берегу Красного ручья в образе гигантской нагой женщины. Этого не могло быть, но это произошло. Софочка умерла много лет назад, о ней и вообще о семье Яишниковых в округе давно не вспоминали, и поначалу князь даже себе не хотел признаваться в том, что узнал в гигантской женщине Софочку, и вот вдруг она явилась — ангельское лицо блудницы, пятнадцать метров и тысяча килограмм-

мов похоти, ужаса и стыда. Много лет носил в душе ее мерзкий образ Алексей Алексеевич, много лет молил Бога простить его за Софочку, пытаюсь забыть ее, но по ночам она являлась, мило шепелявила, называя его белямишей и Алешенькой, томно улыбалась, ложилась рядом, прижималась к нему, впивалась в его плоть своими жемчужными неровными зубами, норovia добраться до сердца, до мерзкого сердца его...

Жена князя Осорьина умерла внезапно, и богатый и знатный вдовец стал желаннейшим гостем в домах, где томились дочери на выданье. Алексей Алексеевич, однако, игнорировал все намски на новый брак. Из гигиенических соображений он завел опытную любовницу-демимонденку, с которой встречался по средам и субботам, а в деревне его ждала дриада Настенька, младшая дочь старухи-ключницы, милая девушка с глазами жертвенной лани. Дворовые называли ее полубарыней и посмеивались над ее заиканьем, но без злобы.

Алексей Алексеевич был твердо убежден в том, что страсть ему не грозит. Он много работал, занимался воспитанием единственной дочери Катеньки, обустроив поместье — жил полной жизнью, пока Софочка Яишникова не разнесла эту жизнь вдребезги.

То Рождество Алексей Алексеевич встречал в поместье с Катенькой и Настенькой — они дружили, невзирая на разницу в возрасте.

Евгения Георгиевна Вольф энергично командовала подготовкой к празднику.

Одноглазый управляющий Иван Заикин по прозвищу Предмет, называвший себя чистопородным стариком, руководил забоем тридцатипудовых тамвортских свиней. Катенька и Настенька прятались в амбаре, чтобы посмотреть, как зверовидный Иван пьет свежую свиную кровь.

Князь с егерями устроил салют из двух трофейных четырехфунтовых шведских пушек.

На Святках катались в санях, объезжали соседей с поздравлениями, с шампанским — тогда-то Алексей Алексеевич впервые попал в поместье Яишниковых.

Заброшенное, бедное и грязное, оно производило жалкое впечатление. Помещичий дом с облупленными колоннами, разномастной мебелью и вонючими сальными свечами. Пьяненькая брюхатая баба с наглой ухмылкой, которая проводила гостей в темную гостиную с обшарпанным роялем в углу. Нетрезвый хозяин дома — Семен Семеныч Яишников, отставной поручик, во фраке кирпичного цвета, в распахнутой на груди нечистой рубахе. Сначала он рассыпался в извинениях и предложил гостям какой-то гадкой настойки, потом вдруг взял Алексея Алексеевича под локоть и шепотом — «по-соседски, ваш сиятельство, по-соседски» — стал рассказывать о покойной жене, с которой он благополучно прошел «чрез множество благоключимств»,

да вот супруга перестаралась с терпентином — она пила его трижды в день — и преставилась в мучениях...

— Терпентин... это же скипидар? Зачем же она пила его? Это ж, кажется, яд... и запах...

— А для запаха и пила, — сказал хозяин. — От терпентина, ваше сиятельство, женская моча благоухает розами. А это младшенькая моя — Софочка...

Софочка поразила младенческим своим молочным лицом, детскими губами и вполне зрелыми женскими формами, поразила взглядом — насмешливым и даже презрительным, но при этом она так мило шепелявила, так смеялась, показывая неровные жемчужные зубки, а когда Алексей Алексеевич поймал ее страдальческий взгляд, брошенный на отца, то понял, что не может оставить ее здесь, среди этой тусклой мерзости, среди этой унылой обшарпанности и облупленности, и был рад, когда Катенька и Настенька в один голос стали просить Софочку ехать с ними, и был счастлив, когда она согласилась, и это чувство только усиливалось, когда они мчались в санях через роскошный зимний лес с факелами, Настенька весело кричала: «Волки! Волки!», Катенька смеялась, а Софочка вдруг взяла Алексея Алексеевича за руку и прижалась к его плечу, и когда они влетели в ворота, украшенные еловыми ветками и фонариками, ударили шведские пушки, и Софочка посмотрела на него снизу вверх и сказала своим божественным детским голосом, чуть задыхаясь и шепелявя: «Сердце мое»...

У князя Осорьина-Кагульского случались приступы апноэ, внезапные остановки дыхания, после которых он долго не мог вспомнить о том, что произошло накануне. Два-три дня старик не выходил из своего кабинета, никого не принимал: ему было стыдно за то, что он — пусть не по своей воле, пусть ненадолго — потерял себя, свое место во вселенной. Князь принадлежал к поколению людей, которые ходили к ранней заутрене лишь затем, чтобы нагулять аппетит, но именно приступы стыда в конце концов и загнали могучего старика в могилу.

Апноэ — вот что случилось, когда Алексей Алексеевич впервые увидел Софочку, когда, глядя на него снизу вверх, она сказала: «Сердце мое», когда он после ночного застолья — Катенька и Настенька уже легли — вдруг отшвырнул сигару, чертыхнулся и бросился в комнату Софочки, и не успел постучать, как дверь распахнулась и Софочка кинулась ему на шею, и он, все еще чертыхаясь, задыхаясь, стал срывать с нее одежду, а Софочка с него, а потом он впился губами в ее плечо, в шею, ниже, еще ниже, где пахло скипидаром, и они схлестнулись, упали, забились в припадке, хрипло дыша и не щадя друг друга, кусаясь и брызгая слюной, рыча и стона, когда, наконец, животная дрожь объединила их, плачущих и опустевших, и Софочка прошептала: «Алешенька... белямишенька мой», и он прижал ее к себе и сказал: «Да», и они затихли, превратившись в одно целое, в безмозгое и счастливое ничто, — да,

это было апноэ, амок, это было помрачение ума, это был стыд, через который Алексей Алексеевич не мог переступить и не хотел, как ему казалось той ночью...

На следующий день он завтракал у себя, никого не принимал, боясь встретиться взглядом с дочерью, с Настенькой, с Софочкой, и не выходил из кабинета до вечера.

«Будь что будет, — говорил он себе. — Это непорочно, и будь что будет».

Он сидел за письменным столом, тупо глядя на чистый лист бумаги, но не мог даже дневнику доверить свои мысли и чувства. Он верил в Бога, а потому понимал, что дьявольского в человеке больше, чем ангельского, но никогда еще ему не приходилось переживать эту мысль физиологически. Вспоминал свой первый бой, когда он, молодой совсем офицер Алексей Осорьин, повел своих солдат в штыковую атаку под огнем противника, шел с саблей в правой руке и пистолетом в левой, ничего не видя перед собой, ничего не чувствуя, кроме гвоздя в сапоге, а потом вдруг увидел бегущих навстречу людей с тупыми лицами, и внезапно страх ушел, прорвало, и нахлынула бесстыжая радость, и он бросился на врага, выстрелил, ударил, весь захваченный божественным ликованием, крича «Жив! Жив! Я жив!» и убивая направо и налево, не думая о смерти, вдохновленный грязным и грозным Эросом войны, и это и была любовь — безжалостная, всепоглощающая и безумная, и казалось, что больше ему никогда не пе-

режить этого чувства, потому что стореть дотла можно только раз, но минувшей ночью он снова пережил все это, и снова остался жив, и снова его тошнило, как после первого боя, и снова ему хотелось ослепнуть и оглохнуть от невыносимого стыда...

Он думал о Софочке, о ее доме с обшарпанным роляем в углу, о ее покойной матери, которая пила скипидар, чтобы моча пахла розами, о ее гаденьком отце, который наверняка скоро появится в осорьинском имении, чтобы попросить взаймы, делая вид, что это не плата за дочь, а просто — деньги в долг, по-соседски, ваше сиятельство, по-соседски, и князь, конечно, даст денег, трясаясь от омерзения и не подымая глаз на негодяя, и чем это кончится — бог весть, и снова думал о Софочке, которая в свои четырнадцать лет вела себя в постели как опытная женщина известного пошиба, играла телом и детским голосом с таким искусством, так ловко, так натурально — у Алексея Алексеевича и мысли не возникало о фальши, обмане, да и не было ни фальши, ни обмана, когда они схлестнулись, упали, забились в припадке, хрипло дыша и не щадя друг друга, кусаясь и брызгая слюной, рыча и стеная, когда, наконец, животная дрожь объединила их, плачущих и опустевших, и Софочка прошептала: «Алешенька», и вдруг ему снова захотелось услышать этот ее шепот, почувствовать этот ее скипидарный запах, провести кончиками пальцев по ее клейкому и кислому от пота

животу, и он схватил колокольчик и бешено затряс, мыча от нетерпения и притопывая ногой...

Вышло все именно так, как и предполагал князь Осорьин. Уже на следующий день Яишников попросил денег взаймы, и Алексей Алексеевич дал, трясясь от омерзения, а потом давал еще и еще, лишь бы ничто не мешало встречам с Софочкой. Катенька посматривала на отца с недоумением, Настенька плакала. Он понимал, что это безумие, но дня прожить не мог без этой распутной девчонки. Оставаясь один, он давал себе слово порвать с Софочкой, но стоило ей оказаться поблизости, как способность мыслить тотчас уступала место желанию, чистому, как огонь, животному желанию.

Не прошло и месяца, как отношения их изменились. Софочка перестала выбегать навстречу Осорьину — теперь она ждала в своей комнатке, когда он поднимется к ней и будет умолять о поцелуе. Для таких случаев вечно пьяненькая беременная баба постелила на полу в Софочкиной комнатке турецкий плешивый коврик, «чтоб коленкам было мягче», и этот унижительный коврик злил Алексея Алексеевича, который, однако, покорно опускался на колени и просил о снисхождении. Софочка не скрывала скуки, зевала, капризничала, не давалась, и Осорьин впадал в отчаяние, сердился, а то и вовсе хлопал дверью и уезжал, бегал по своему кабинету, ругал себя ругательски, чертыхался, потом не выдерживал — снова садился в возок и мчался к ней, и вдруг она выбегала к нему — босая, растрепанная, заплаканная,

прекрасная — и с жалобным криком бросалась ему на шею, и он тотчас прощал ее и просил прощения, и как же они терзали друг дружку после этого, как же любили, и как же потом князь Осорьин ненавидел себя...

Алексей Алексеевич запутался. Он не знал, как избавиться от Софочки: она хотела стать княгиней Осорьиной, хотела ребенка, хотела в Петербург, грезила балами и водами, и все чаще Осорьин впадал в отчаяние. По вечерам он с мрачным видом выслушивал доклады чистопородного старика Ивана Заикина и пил коньяк.

Одноглазый управляющий — дворовые звали его Предметом за любовь к этому слову и вообще к бонмошкам — сочувственно поглядывал на барина, но в душу без спросу не лез.

Прадед Алексея Алексеевича — князь Матвей Осорьин — был человеком прямым и суровым. Он возглавлял Канцелярию тайных и розыскных дел и считал, что десять заповедей появились лишь затем, чтобы напомнить о семи смертных грехах, а возделывать страх Божий в душах людей лучше всего в тени виселицы. «Должно всех без исключения людей считать порочными, иначе никогда в государстве не утвердится порядка, позволяющего этим людям существовать в мире и довольствии», — писал князь Матвей в дневнике.

Виселица была вовсе не поэтическим образом — она стояла на заднем дворе осорьинского дома, где князь Матвей судил, казнил и миловал крепостных.

Перед судом виселицу приводили в порядок — чистили, подкрашивали, проверяли веревку и т. п. И хотя все знали, что стоит она тут только для устрашения, никто не мог быть до конца уверен в том, что так будет всегда. Так и вышло. Во времена пугачевщины разбойники вздернули на виселицу старого князя, а вскоре на ней оказались и мятежники.

При князе Осорьине-Кагульском за исправность виселицы отвечал управляющий — Иван Заикин, Предмет, человек строгий до жестокости, которого шепотом называли палачом. Поговаривали, что как-то глухой ночью он повесил на заднем дворе свою жену-изменницу, которую застукал в амбаре с коробейником. При следующем барине — герое Аустерлица — виселица была заброшена, а его сын, Алексей Алексеевич Осорьин, велел и вовсе разобрать гнилое сооружение, чтобы оно случайно на кого-нибудь не упало. Иван Заикин, впрочем, сберег веревку, снятую с виселицы, и, как говорили, носил ее вместо пояса — «для страха».

Управляющий до седых волос имел репутацию бабника. В осорьинских деревнях не так уж редко встречались дети со сросшимися бровями — таких парней и девушек называли заикинскими или палачевскими.

Некоторые считали, что и глаза Иван Заикин лишился в драке с одним из обманутых мужей. Но когда Алексей Алексеевич прямо спросил управляющего, правда ли это, тот рассказал историю о шкатулке, оставленной ему покойной женой. Перед смертью жена по-

просила сжечь шкатулку вместе с содержимым, но ни в коем случае не открывать ее. Заикин ослушался, открыл — и лишился глаза. А мог бы и погибнуть.

«Что ж в ней было? — весело спросил Алексей Алексеевич. — Бомба? Или письма, из которых ты узнал что-то такое, из-за чего пришлось выколоть себе глаз?»

«Не смейтесь, ваше сиятельство, — сказал старик. — Притаившиеся предметы иногда лучше не трогать».

Предметами Заикин называл все подряд — лошадей, облака, чувства, отвлеченные понятия, но так и не открыл, что же за предмет таился в шкатулке, из-за которого он лишился глаза.

Князь Матвей Осорьин писал в дневнике, что палач такая же тень Бога, как и царь, темная тень, а потому оба, царь и палач, находятся на границе человеческого мира, у самого края бездны, там, где сила общего закона нередко уступает праву личного чувства. Иван Заикин был тенью, неотъемлемой частью семьи и дома Осорьиных, темной частью.

Спустя много лет Алексей Алексеевич уже не мог вспомнить, кто тогда первым заговорил о Софочке — он ли пожаловался старику Заикину или Предмет вдруг посочувствовал барину. Память не сохранила деталей того разговора. Но одно Алексей Алексеевич знал твердо: он ни о чем не просил старика, не соблазнял его даже намеком. Он не мог просить. Не мог, потому что

это было у него в крови: то, что ты должен сделать плохого, сделай сам, добро можешь доверить другим людям. И он не лицемерил, не играл, когда узнал о том, что произошло той ночью в имени Яишниковых. У него чуть не остановилось сердце, когда ему доложили о пожаре, о страшной гибели Софочки и ее отца в огне.

Вместе с приставом и жандармами он отправился к соседям и был потрясен, увидев нагромождение дымящихся бревен, обугленные тела на снегу под липами, крестьян, разбиравших пожарище. Пристав наклонился к нему и прошептал: «Поджог, ваше сиятельство. Двери и окна были заколочены. Доигрался Семен Семенович...» И стал рассказывать о бесчетных наложницах отставного поручика Яишникова, о его пьянстве и скверном характере, о ссорах с крестьянами и соседями, о его несчастной жене, наложившей на себя руки, и о дочери Софочке, выступавшей в роли черной кошки — вроде тех, которых разбойники запускают в чужой дом, чтобы ночью ученый зверь открыл изнутри дверь грабителям...

«В поэтическом смысле, разумеется, — уточнил пристав. — Софья Семеновна служила наживкой... и хороша же была наживка, ваше сиятельство, хороша... да, впрочем, сейчас-то Бог ей судья...»

Тем же вечером умер чистопородный старик Заикин. Почувствовал боль в груди, прилег и умер. Лицо его было выбелено и нарумянено, но глубокие свежие царапины замазать не удалось — три на левой щеке

и две на лбу. Изнутри гроб был выложен турецким плешивым ковром, от которого Алексей Алексеевич всю службу не мог оторвать взгляда. Через два дня князь Осорьин с дочерью покинул поместье: в Петербурге его ждали дела.

Алексей Алексеевич очнулся, захлопнул тетрадь в кожаном переплете и потянулся.

Часы в столовой пробили полночь.

Осорьин выдвинул ящик стола, проверил, заряжены ли револьверы, спустился в буфетную, выпил рюмку коньяка, вышел во двор и велел заложить двуколку.

На крыльцо вышла Евгения Георгиевна.

— Беда, — сказала она. — Слышите, Алексей Алексеевич? Это беда.

Вдали над черными кронами деревьев вспыхнуло бледное пламя.

— Это гроза, — сказал Алексей Алексеевич. — Июль...

Евгения Георгиевна смотрела на него испуганно.

Осорьин задул свечу, которую старушка держала в дрожащей руке, и повторил:

— Июль. Гроза приближается.

Подали двуколку.

Осорьин сунул револьверы под сиденье, разобрал поводья.

Старый конюх Серёня Игнатьев протянул ему ружье, проговорил укоризненно:

— Один-то, Алексей Алексеевич, разве можно в такую темень — одному?

— Зарядил?

— Картечью, ваше сиятельство. С Богом!

— Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты! — ответил Осорьин, легко опускаясь на сиденье. — Н-но, голубчик! С Богом!

Через минуту из темноты донесся хруст мелкого гравия — двуколка въехала в аллею, которая вела к воротам, а еще через минуту все стихло.

Ранним утром отряд под началом станового пристава Муравьева прибыл на берег Красного ручья. Позднее в газетах писали, что увиденное на месте преступления ужаснуло полицейских: десятки голых мужчин, перепачканных кровью, которые спали тяжелым пьяным сном, мертвый князь Осорьин, растерзанная Софочка...

Полиции пришлось довольствоваться показаниями участников оргии, разыгравшейся той ночью на берегах ручья, — других свидетелей просто не было. Из этих показаний складывалась картина странного и страшного происшествия, в центре которого оказалась женщина двадцати аршин ростом и пятидесяти пудов весом. Кто она, откуда взялась — об этом свидетели не могли сообщить ничего вразумительного. «Как с неба свалилась», — вот и все, что могли они сказать. Эта женщина — ее человеческая природа была несомненна — вызвала у людей сначала любопытство, а потом

раздражение, поскольку ее женские качества были несоизмеримы мужским возможностям. Подогретые брагой мужики в конце концов не выдержали, скрутили сторожей, напоили женщину, а потом всей толпой набросились на нее, убили и разорвали в клочья. Они пожирали ее мясо, пили бражку, кричали и дрались, утратив человеческий облик. Прибывший на Красный ручей Осорьин застал финал оргии. Князь пытался остановить мужиков, однако, как установили полицейские врачи, умер он своей смертью — от сердечного приступа. Бывшие при нем ружья и револьверы не нашли. Учитель Сычик исчез.

Было возбуждено дело о беспорядках и каннибализме, хотя некоторые юристы и сомневались в том, что убитая женщина была человеком, апеллируя к общественным представлениям о *Homo sapiens*, которые не сводятся к физическим, физиологическим свойствам.

Вскоре началась Русско-турецкая война, внимание публики захватили Скобелев и Столетов, Шипка и Шейново, и дело о людоедстве было забыто.

Становой пристав Сергей Михайлович Муравьев не успокаивался. Он опросил всех, кто был хотя бы косвенно причастен к происшествию, и тщательно изучил бумаги князя Осорьина, включая его дневник, но так и не понял, что же произошло в действительности. Дело это не давало ему покоя по причинам, которые и самому Сергею Михайловичу были не до конца ясны.

Оно доводило его до раздражения и отчаяния, и в конце концов, после внезапной кончины горячо любимой жены, умершей третьими родами, он подал в отставку и принял постриг в осорьинском Борисоглебском монастыре под именем Сергия.

Сычик же бежал за границу. Он был пастухом в Аргентине, докером в Нью-Йорке и пулеметчиком в Трансваале, в Россию вернулся в 1905-м, сначала примкнул к эсерам, потом стал большевиком. Во время Гражданской войны командовал Бессмертной дивизией, носившей имя великого революционера Галилео Галилея, а потому называвшейся еще Галилейской. На знаменах галилейцев золотом и серебром был вышит девиз — «Не мир принес Я, но меч». Петр Сычев поклялся до полной победы мировой революции не снимать с головы тернового венца, не спать с женщиной и не носить обуви. Подпоясанный висельной веревкой, он ходил в атаку как рядовой боец, и ни пули, ни сабли его не брали. Осенью 1919 года Бессмертная дивизия остановила войска Деникина на подступах к Москве, потом сражалась на Дону, участвовала в боях за Крым.

Спустя десять лет Петр Сычев и иеросхимонах отец Сергей встретились в Соловецком лагере особого назначения и оставались неразлучны до самой смерти.

Они вели долгие разговоры — о ничтожном и мрачном прошлом, без которого не бывает великого будущего, о притаившихся предметах, о том, что историю всегда можно отмыть добела, но никогда — дочиста, о

падении царства и бессмертии рабства, о виновности человека и безвинности народа...

Оба умерли голодной смертью в один день.

Они были откровенны друг с другом, но когда умирающий отец Сергей спросил, пробовал ли Сычик мясо Софочки, умирающий комдив ответил уклончиво: «История и гигиена — разные науки».

Похоронили их в братской могиле.

Повесть о князе Алешеньке

Тайный советник Николай Николаевич Полуталов был в темно-сером фраке, шелковом жилете, с шелковым же платком в нагрудном кармане, в белоснежной рубашке с воротником-стойкой, туго стянутым галстуком с крупным бриллиантом. Его узкое брылястое лицо казалось воплощением сонного достоинства, но Евгений Николаевич Осорьин то и дело ловил на себе взгляд старика — взгляд острый и внимательный. Возможно, старик не одобрял легкомысленного наряда князя — белого пиджака и парусиновых туфель с веревочными подошвами.

— Личный интерес, — повторил Полуталов последние слова собеседника. — Что ж, князь, я понимаю. — Кивком поблагодарил официанта, который принес вино, пригубил, поднял бровь. — Очень хорошо вас понимаю. — Постучал пальцем по письму, которое ле-

жало перед ним на столике. — И почерк у вас... м-м... достойный...

Князь Осорьин улыбнулся, достал портсигар.

Они закурили — Николай Николаевич сигару, Евгений Николаевич — сигарету.

Князь Осорьин был много наслышан о Полуталове. Николай Николаевич начинал карьеру рядовым полицейским следователем, занимавшимся воровской мелкотой, а завершил ее начальником Особого отдела Департамента полиции. Газеты называли его легендарным сыщиком и главным экспертом по русскому бунту: в ведении Особого отдела находились революционные организации, политические партии и т. п. Он имел право прямого доклада государю, но всегда старался держаться в тени.

Впрочем, Евгения Николаевича интересовал только один эпизод богатой биографии Полуталова, и именно об этом эпизоде он написал тайному советнику, попросив о встрече, благо они были заочно знакомы: член-соревнователь Исторического общества князь Осорьин по рекомендации великого князя Николая Михайловича ранее несколько раз обращался к генералу за помощью, когда надо было получить доступ к некоторым архивным материалам. Эпизод, о котором шла речь, был неизвестен публике, поскольку один из его участников — писатель Достоевский — просил Полуталова не предавать его огласке.

Князь хотел, чтобы теперь, спустя почти сорок лет, старик «приподнял завесу над событиями той странной ночи», как он писал в письме, и рассказал о другом участнике эпизода — князе Алексее Осорьине-Туровском, известном в революционном движении под псевдонимом Тур или Тур-Туровский. В том же письме Евгений Николаевич высказывал предположение, что настоящим прототипом Ставрогина из романа Достоевского «Бесы» был именно этот человек, Осорьин-Туровский, а вовсе не Спешнев или Бакунин, как предполагают многие критики.

— Для начала, Николай Николаевич, я хотел бы узнать, правда ли, что у этого Тур-Туровского была та самая физическая особенность, о которой пишут многие свидетели? Вопрос, наверное, покажется вам странным, но все же... не знаю почему, но все эти свидетельства вызывают у меня чувство неудовлетворенности...

— Вы имеете в виду *troisième main*?

Осорьин кивнул.

— Да, ее. Видите ли, я разговаривал по этому поводу с известными докторами, и они сомневаются в том, чтобы это уродство... чтобы эта третья рука была такой сильной и подвижной, как об этом говорят... Науке известно несколько таких фактов, но всякий раз речь шла о жалком подобии руки, пальцам которой было не по силам даже в фигу сложиться, не то что сжаться в кулак, ударить кого-нибудь или схватить...

— Была, — сказал твердо Полуталов. — Была третья рука, Евгений Николаевич, еще как была. Собственными глазами видел и даже трогал. И эта третья рука ничем не уступала ни левой, ни правой: и хватала, и била, и вообще была живой и сильной. Кстати, в нашем архиве должен сохраниться медицинский отчет о вскрытии тела — полюбопытствуйте, я помогу...

— Чудеса, — сказал Осорьин.

— Скандал, — возразил Полуталов. — Впрочем, любое чудо — это скандал, даже, так сказать, положительное чудо. Вообразите же теперь, князь, каково пришлось его родителям...

Родители Алексея Осорьина-Туровского были людьми просвещенными и даже либеральными. Глава семьи — князь Петр Петрович — на свои средства устроил в уездном городе общедоступную библиотеку и вымостил главную улицу, а его жена Анна Ивановна помогала девушкам из бедных многодетных дворянских семей. По воскресеньям они посещали сельскую церковь, куда отправлялись пешком, хотя делали это скорее для укрепления здоровья физического, а не духовного. Они много читали, музицировали, но редко бывали в столицах и почти не принимали гостей — и все из-за единственного сына.

Княгиня долго не могла родить, а когда на свет наконец появился Алеша, от радости тронулась умом. Князь Петр Петрович был рад рождению наследника и встре-

вожен с первой же минуты, когда повитуха, не скрывая неприязни, сказала, что у мальчика рядом с правой рукой «болтается какое-то черт его знает что». Вызванные в имение доктора установили, что третья рука не является частью правой, но вполне самостоятельна и не повредит нормальному физическому развитию ребенка, поскольку никаких аномалий или патологий в организме мальчика обнаружено не было, если не считать некоторого уменьшения правого легкого. При этом доктора сошлись на том, что удаление лишнего органа нецелесообразно, ибо потребовало бы радикальной хирургической перестройки правой ключицы, грудины и мускулатуры.

Князь Петр Петрович был легким человеком, а потому принял удар судьбы спокойно, и раз уж сын родился таким особенным, решил воспитать из него гения, человека исключительного во всех отношениях. Он окружил мальчика няньками, гувернантками и учителями, которых заставил поклясться на Библии, что они не будут никогда обсуждать с посторонними «этот предмет», чтобы не разжигать злого любопытства невежд, склонных к суевериям.

Но не деньги — князь положил всем высокое жалованье — и не клятва на Библии заставляли всех этих людей служить подопечному не за страх, а за совесть. Необыкновенное рвение объяснялось просто: они служили существу божественному — Алексею Петровичу Осорьину-Туровскому...

— Он был необыкновенно красив, — сказал Николай Николаевич, с сожалением глядя на потухшую сигару. — Он был красивее всех мужчин и женщин, каких только мне приходилось встречать на своем веку. Красив красотой божественной, пленительной, страшной. Как будто природа решила вознаградить его за несчастье и сделала идеальным воплощением красоты. Вы даже вообразить не сможете, Евгений Николаевич, как он был красив... При взгляде на него становилось и радостно, и стыдно...

— Стыдно? — спросил Осорьин.

Подлетевший официант чиркнул спичкой, и Полуталов снова прикурил сигару.

— Стыдно. Как при столкновении с чем-то недолжным... О зависти тут и речи не было — такой красоте завидовать было невозможно... Древние хорошо понимали силу и власть красоты, которая может быть опасна, как всякая аморальная сила... это же сильное оружие, если угодно, почище любой пушки или книги... И еще он был невероятно обаятельным, дьявольски обаятельным, именно — дьявольски... И берегли его в детстве как величайшую драгоценность, прятали от чужих глаз, охраняли. Он рос, окутанный тайной, и это, конечно же, не могло не повлиять на его характер...

Мальчику легко давалось все — языки, науки, поэзия, живопись. В игре на рояле он достиг таких высот, о которых многие исполнители не могут и мечтать: третья рука превращала его в виртуоза. Обладая иде-

альным слухом, он умело подражал голосам птиц, людей, собачьему лаю и тележному скрипу. Фехтование, стрельба из пистолета, гимнастика — и тут он легко достигал высот, как будто не прикладывая к этому никаких усилий.

Педагоги гадали, кем он вырастет — великим музыкантом или великим ученым. Настораживала их только избыточная страстность юноши, которая проявлялась подчас в пугающих формах. Однажды он чуть не убил своего учителя фехтования. Увлёкся поединком и чуть не убил. *Vesania*, неистовство, какая-то оголтелость — вот что пугало в нем. Безоглядность, поощряемая людьми, которые любили его до степени обожания. Он ни в чем не знал меры, но ничем не мог и увлечься по-настоящему, и слава Богу: до поры до времени это уберегало юношу от бед.

Может быть, уже тогда он знал, предчувствовал, что станет не великим ученым или великим музыкантом, но великим обольстителем.

Доверенный портной шил для него специальную одежду, которая скрывала третью руку: невероятные брызжи, накидки, пелерины, куртки с доломанами...

Гулял юный князь в отдаленных уголках имения в сопровождении бонн, гувернанток и учителей, которые бдительно оберегали подопечного от нежелательных встреч.

Княжеские шпионы в деревнях пресекали всякие слухи о прекрасном чудовище, которое бродит по ночам в барском парке и питается кровью невинных детей.

За его здоровьем следил опытный доктор Генрих Карлович Вагнер, знаток болезней не только физических, но и душевных.

В окружении множества людей князь Алешенька, как его все называли, рос человеком одиноким, без друзей и привязанностей, хотя претендентов на его сердце — а особенно претенденток — было более чем достаточно. Однако юноша никого не выделял, был со всеми ровен, дружелюбен и холоден.

Так продолжалось до встречи с Эрнестиной Д., племянницей учителя немецкого, латыни и греческого.

Эрнестине было лет пятнадцать, и она была девушкой изысканно-томной, полноватой, светлоглазой, с шелковистыми льняными волосами, любила романтические стихи и знала наизусть Гюго: «Спиагудри, будь верен и нем. Клянусь тебе духом Ингольфа и черепом Жилля, ты увидишь на смотре в своей гостинице трупов весь Мункгольмский полк».

Вскоре Осорьин-старший разрешил Эрнестине гулять с Алешенькой, и воспитатели вздохнули с облегчением, представив молодым людям почти полную свободу.

Они не разлучались. Он играл роль существа демонического, отвергнутого Богом и людьми, она готова была разделить его судьбу. В порыве вдохновения они

однажды поклялись друг другу в том, что никакие тайны не смогут отравить их союз, не смогут и не должны, и тем же вечером покончили со всеми тайнами, уединившись в ее спальне. Эрнестина, как и многие слабые мечтательные создания, сделала этот отчаянный шаг, как говорится, повинувшись сердцу, а князь Алешенька, похоже, поддался темному неистовству.

Через полчаса сторожа, обходившие имение, застали князя Алешеньку в беседке на берегу пруда. Поймать и успокоить его удалось с немалым трудом: третья рука — красная, жилистая, с птичьими когтями — продолжала бороться даже после того, как ее хозяина связали и засунули в полотняный мешок.

Эрнестину спасти не удалось — она была изнасилована, задушена и изуродована.

Доктор Вагнер дал Алешеньке успокоительного.

— Не думаю, что этот эксцесс вызван третьей рукой, — сказал Генрих Карлович Осорьину-старшему. — Связан с нею, но не вызван, и вы это понимаете отлично. Человек — единственное живое существо, не имеющее собственной природы, а потому он с легкостью может вознестись до ангелов или пасть до демонов. Всякий человек, считающий себя исключением из правил, опасен, ибо не знает границ и меры. И как же Алексею Петровичу не считать себя исключением из правил, если он и впрямь исключение? А главная беда, князь, коренится в его убеждении в том, что если он наказан самим Богом, то никто другой наказывать его

не смеет, что он — вне представлений человеческих о преступлении и наказании. Ни ампутация, ни пилюли тут не помогут. Случай трудный, но это, увы, не медицинский случай.

На следующий день Алешенька, очнувшийся после долгого забытья, выглядел ужасно. Он плохо помнил, что произошло вчера, часами смотрел в одну точку и дрожал не переставая. А вечером, когда отец зашел проведать его, спросил: «Неужели мне всю жизнь придется просидеть на цепи, батюшка?» В голосе его звучало отчаяние.

Но когда потрясенный отец вышел из комнаты, юноша вдруг повернулся к доктору Вагнеру и подмигнул ему. И это был не нервный тик, понял доктор.

После долгих размышлений и колебаний князь отправил сына за границу, в Швейцарию.

Тайный советник предложил прогуляться, они расплатились и вышли на набережную.

Темнело.

Спокойное море было освещено огромной луной, ветерок доносил из глубины полуострова запахи степных крымских трав.

— Иногда мне кажется, — снова заговорил старик, — что цивилизации гибнут, когда в их жизни побеждает театральное начало. Все больше масок, все больше фальши...

— Вы не любите театр? — с улыбкой спросил Евгений Николаевич.

— Отчего же? Театр люблю, а не люблю, когда исчезает граница между сценой и залом, между театром и жизнью, когда люди забывают о своем месте, когда маски становятся лицами... — Старик вздохнул. — Как говаривал мой дед Илья Никитич, у зла много лиц, а у добра — только сердце...

— Князь Алешенька был неискренним человеком?

— Не совсем так... Помните ли, князь, одну особенность Федора Павловича Карамазова? Он часто лгал и знал, что лжет, но иногда лгал с таким вдохновением, так входил в роль, что и сам в свою ложь начинал верить... Это — актерское, и это, наверное, хорошо для сцены, когда актер верит в ложь, сочиненную автором, и сливается с этой ложью ради искусства... А в жизни... — Он помолчал. — Я не думаю, что князь Алешенька был лжецом по своей природе, — но я убежден в том, что ложь была самой сильной стороной его природы. У человека бывают недостатки, но и сильные стороны: этот пьет, да честен, тот изменяет жене, но обожает детей, третий пренебрегает дисциплиной, а на войне — храбрец и надежный товарищ... Сильная сторона часто оправдывает изъяны натуры... Но сильной стороной нашего героя была ложь. Я не думаю, что после убийства бедной Эрнестины он не раскаивался в содеянном, но раскаяние его было минутным, и даже

раскаяние стало частью игры — игры вдохновенной и неистовой...

Мы мало что знаем о его пребывании за границей. Около года он прожил в Швейцарии, в кантоне Ури, кажется, в Альтдорфе. Затем перебрался в Цюрих, откуда отправился в Женеву, потом в Германию, во Францию... говорили, что в Лондоне он встречался с Герценым и произвел на него сильное впечатление... затем примкнул к Гарибальди и сражался за свободу Италии...

Его тянуло к людям, которые жили на границе света и тьмы, к бунтовщикам, революционерам, к опасным мечтателям. И вскоре он стал среди них своим, а его радикализм нравился молодежи гораздо больше, чем усталый скепсис стариков. Он во всем доходил до крайностей, и это многих восхищало.

И ладно бы это был невзрачный человечек, какой-нибудь горбун-мечтатель, вымещающий свой горб на человечестве, — князь Алешенька был земным воплощением божественной красоты. А уж его голос — у него был необыкновенно красивый голос. Чарующий, гипнотический, волшебный, его мягкий баритон буквально пленял людей, особенно женщин. Ведь все эти тайные общества и революционные кружки немислимы без молодых женщин, часто глуповатых, но эмоциональных, иногда экзальтированных, без них все эти общества и кружки развалились бы, именно эти молодые женщины связывают борцов, носят письма, передают слухи, бегают туда-сюда, внося живость во все эти унылые со-

брания, и для них голос князя Алешеньки был стократ важнее, чем его слова, его голос для них был голосом ангельским, такой голос не мог лгать, он нес высокую весть, проникал в самое сердце...

Отец регулярно слал Алешеньке деньги, но он мог бы прожить и без них, а за счет тех женщин, иногда богатых, которые обожали его и готовы были ради него на все...

Вскоре Осорьин-младший стал посылать в русские газеты и журналы статьи, заметки за подписью Тур-Туровский, и его охотно печатали, потому что писал он блестяще, а уж как высмеивал Европу с ее меркантильностью, формализмом, бездушием — любо-дорого читать. Цензуре не к чему было придраться.

Может быть, именно тогда и завелись у него связи с тайной полицией, которая внимательно следила за русскими эмигрантами крайнего толка. И если это так, то сотрудничество это было вызвано вовсе не алчностью — Алешенька не нуждался в средствах, а той же самой склонностью к игре. Для одних он нигилист, душа революционного кружка, новый Дантон, а для других — расчетливый шпион, холодно наблюдающий за товарищами, чтобы ночью составить отчет для полиции об их настроениях. Вообще холодность была чуть ли не главной его чертой — поклонницы даже называли его Ледяным Принцем, и это его качество вызывало у них оргиастический восторг... Ну и темное облако тайны, которое окутывало его, — что еще нужно для леген-

ды? Третья рука, избранничество, исключительность, убийство... Легенды легко порабощают мечтателей, превращая их в жестоких животных, а уж темные легенды и подавно.

Говорили, что полиция несколько раз пыталась схватить его, но в тот миг, когда дело казалось сделанным, из-под пелерины вдруг выскакивала третья рука с револьвером, пугавшая полицейских до смерти, и Алешенька вновь оказывался на свободе.

Еще говорили, что если с правой руки он на двадцати шагах гасил выстрелами из револьвера пять свечей из десяти, а с левой шесть, то с третьей — все десять.

Он вернулся в Россию, взбудораженную великими реформами, и был принят молодежью с восторгом. Его всюду звали, и он всюду бывал, участвовал в дебатах, посиделках, вечеринках, которые иногда заканчивались вылазками в самые непотребные места. А потом вдруг исчез. Все гадали: что случилось? куда пропал? уж не заболел ли? Одни отчаянные головы говорили, что Осорьин отправился в Сибирь — «поднимать мужика на бунт», другие и вовсе утверждали, что он подался в монастырь, покаялся и принял постриг...

Но все было проще: князь Алешенька уехал в родовое имение.

К тому времени княгиня Осорьина-Туровская совершенно иссякла умом и умерла, а князь Петр Петрович обессилел настолько, что не мог задуть свечу. Беды,

выпавшие жене и сыну, сломали его. По его просьбе дела имения взяла в свои руки Елизавета Никитична Опалимова, младшая сестра жены, вдова лет тридцати пяти, которая приехала в Осорьино с дочерью-хромоножкой.

Вдова была женщиной властной, неглупой и привлекательной, а ее дочь Арина вовсе не относилась к типу ущербных созданий — она была темноглазой, веселой и очень красивой.

Князь Алешенька провел в имении, кажется, лучшие свои дни. Он тотчас подружился с Опалимовыми, помогал вдове вести хозяйство и ухаживать за Петром Петровичем, а с Ариной играл в шахматы и обсуждал литературные новинки. Он не прибегал к каким бы то ни было ухищрениям, чтобы втереться в доверие к женщинам, — Елизавета Никитична и Арина с первого дня приняли его с открытой душой, и получилось это легко и естественно. Опалимова-старшая ценила в нем умного друга и неутомимого любовника, а Арина — не только любовника, но и «близкую душу».

Накануне Рождества было объявлено о помолвке князя Алешеньки и Арины.

В конце февраля умер Петр Петрович.

В начале следующего года Опалимова-младшая стала Осорьиной-Туровской и вскоре родила дочку Манечку, а спустя четыре месяца, за несколько дней до Пасхи, Елизавета Никитична и Арина отправились по делам в Москву и погибли в железнодорожной катастрофе.

Князь Алешенька словно обуглился от горя.

После похорон любимых женщин он три дня объезжал имение, посыпая землю горькой солью, а потом на скорую руку продал Осорьино и уехал в Петербург.

Именно тогда его речи приобрели желчность, а поступки — пугающую безоглядность.

Именно тогда он создал тайное общество, вскоре прославившееся покушениями на представителей власти, поджогами, взрывами и призывами к всероссийскому бунту.

Весь в черном, в черных очках и черных перчатках, князь Алешенька больше не разговаривал с соратниками, не вступал в споры — только изрекал истины и отдавал приказы, а тех, кто не выполнял его приказы, судил тайным судом и казнил с особой жестокостью.

К женщинам он относился с циничным презрением, но это, впрочем, не мешало им буквально в очередь выстраиваться к его постели. Одной из них, сумевшей приблизиться к нему больше других, он как-то сказал, что никак не может вспомнить лица матери, отца, Елизаветы Никитичны, Арины, и это его мучает: «Тоска, одиночество и пустота — вот и все, что у меня осталось. Я как будто вернулся с войны, но не помню, за что воювал и с кем».

Полиция разгромила тайную организацию, арестовав ее участников — всех, кроме князя Алешеньки: поговаривали, что он сам от скуки и сдал соратников властям.

Он исчез, притаился, ничем не выдал себя ни во время суда над революционерами, ни после. В газетах писали, что он проживает под чужим именем в Петербурге и является организатором банды «прыгунов», которые грабили прохожих и удирали от полиции благодаря пружинам, приделанным к подметкам. Его же обвиняли и в организации пожаров, которые прокатились по столице, словно эпидемия, а потом так же неожиданно прекратились.

Через полтора года он вдруг вышел из тени и однажды вечером заявился к писателю Достоевскому, вооруженный тремя револьверами.

— Кажется мне, что Достоевский недолюбливал желтый цвет, — сказал старик Полуталов, останавливаясь у парапета. — Вот у Державина желтый торжествует, желтый у него — праздник, слава, жизнь и упоение жизнью, а у Достоевского — тусклятина, тоска и тошнота бытия. Он даже желтый снег придумал для своего подпольного человека. Желтый снег, надо ж додуматься! Но тем вечером, когда князь Алешенька направился к Достоевскому, в Петербурге шел желтый снег, воистину желтый, это я готов утверждать под присягой...

Следствию так и не удалось установить мотивы, которыми руководствовался Осорьин-Туровский, когда тем вечером в Радуловских банях изнасиловал и убил девушку Варю, служанку Достоевских, которая сопровождала хозяина с корзинкой белья, потом взял извозчика

и через полчаса постучал в квартиру писателя. После задержания он то и дело менял показания. То он говорил, что хотел убить известного писателя, чтобы вызвать всеобщее смущение в обществе, взбудоражить интеллигенцию, то утверждал, что пришел к Достоевскому ради разговора по душам о романе «Преступление и наказание», в главном герое которого — Раскольникове — якобы усмотрел свой портрет, но портрет искаженный, психологически недостоверный, поскольку он, Осорьин-Туровский, ни за что не явился бы в полицию с повинной, а если бы и был пойман, то не искал бы путей к новой жизни в Евангелии и т. д., и т. п. Про убийство же девушки Вари он сказал прямо: «Была поначалу мысль — представить дело таким образом, будто это Федор Михайлович ее изнасиловал и убил, чтобы скомпрометировать его, известного сладострастника... но когда *насытился*, решил, что это глупости, что действовать нужно прямым образом...»

Писатель же Достоевский на все вопросы отвечал искренне и был сильно удивлен, когда ему сказали, что Осорьин-Туровский хотел его убить: в их разговоре князь Алешенька ни разу даже не намекнул на такой исход дела.

При этом, однако, Федор Михайлович признал, что в первую же минуту Осорьин-Туровский заявил, что он революционер, член тайного общества, и просит спрятать его от полиции, и у писателя даже мысли не возникло о том, чтобы донести о революционере властям.

Вместо этого он пригласил гостя в кабинет и попросил принести им чаю.

Разговор их иногда напоминал исповедь. Князь Алешенька рассказал о своей жизни, о третьей руке, которая была и наказанием Господним, и даром Божиим, знаком избранничества. Он вспоминал, как поначалу стыдился того, что он не такой, как все, и как однажды все изменилось, когда он в Евангелии прочел о суде над Иисусом, о Понтии Пилате, который никак не может понять Иисуса, хотя Он отвечает искренне и правдиво на все вопросы прокуратора. Они говорят вроде бы на одном языке, но при этом язык Пилата — это язык условностей, а Иисус пользуется прямой речью. Прокуратор не понимает Иисуса, и иначе быть не могло. Пилат играл множество ролей: для иудеев он представитель Рима, в Риме — один из протеже Сеяна, в постели с женой или любовницей — мужчина, он — воплощение Правила, Закона, Порядка. А вот Иисус вообще вне этой игры: Он есть Он, Истина, Спаситель и Спасение, и больше никто. «И тут я понял, — передавал Достоевский слова гостя, — что заповедь Иисуса именно в том, чтобы быть собой, и это только звучит, может быть, немного глуповато, а на самом деле это тяжелейшее из испытаний — быть собой, это испытание и единственный путь к спасению». И вся дальнейшая жизнь Осорьина-Туровского была, по его словам, путем к себе, к себе подлинному. Он был разным, многоликим, с умными — умным, со святыми — святым, с разврат-

никами — гнуснейшим из них, с революционерами был революционером, но при этом — первым их врагом, и все это совершенно естественно уживалось в нем, в его душе, не вызывая никаких мучений, угрызений совести, ибо он был свободен, а свобода вне морали. На пути к себе он преодолел вечное человеческое «или — или», не прибываясь к какой-то одной правде, но естественно живя среди множества истин. Он стал дьявольским Ничто, в котором находил Все, и был счастлив, как Адам до грехопадения. С другой стороны, продолжал Достоевский передавать речи Осорьина-Туровского, я ведь понимал, что это отпадение от Бога, путь в никуда, ибо преступления, которые я совершал, даже я не мог признать абсолютным благом. Но если Иисус взял на себя все грехи человечества, то почему мне, следующему Его путем неуклонно, не поступать так же? Почему и мне не взойти на Голгофу, вершина которой до поры до времени скрывается от глаз людских за мрачными тучами истории? Это ли не подвиг в своем роде? Не жертва ли? Принять зло глубоко в душу, стать злом, чтобы изжить его навсегда ради Золотого века, ради всеобщего счастья... Достоевский подхватил разговор, заметив, что зло есть путь, а не состояние, и Голгофа — не конец пути, но начало нового, и на этом пути, только на этом, и достигается истинная свобода, однако свобода не самоценна, она лишь средство к достижению идеала, а потому не может быть вне морали и т. д., и т. п.

Тем временем полиция шла по горячим следам, опрашивая свидетелей — служителей бани, извозчиков, которые запомнили и первого седока — Достоевского, и второго — князя Алешеньку, опрашивая дворников, которые рассказали о человеке, поднявшемся в квартиру писателя. И не прошло четырех часов, как полицейские арестовали князя Алешеньку, изъяв у него при этом два заряженных револьвера, которые он отдал без сопротивления.

Писатель был явно огорчен тем, что разговор прерван на самом интересном месте, Осорьин же держался спокойно, с достоинством.

Несколько часов князя Алешеньку допрашивали в участке. Нервное возбуждение улеглось, и он отвечал вяло, был мрачен, но согласился со всеми обвинениями, а перечень их был велик. Когда его уводили в камеру и следователь сказал: «До встречи», Осорьин-Туровский странно усмехнулся, но в тот миг никто не придавал этому значения. Как только дверь камеры за ним закрылась, раздался выстрел. Князь Алешенька покончил с собой из револьвера, который все время был у него в третьей руке, спрятанной под пелериной. При аресте полицейские не проводили тщательного обыска, боясь прикоснуться к этому «чуду природы», которое вызывало у них не то брезгливость, не то суеверный страх. На это, видимо, и рассчитывал князь Алешенька.

— Странный человек, — сказал Евгений Николаевич, снова закуривая. — И странное дело. Ставрогин, конечно, истинный Ставрогин. Но эта третья рука... Достоевский, конечно, ни за что не позволил бы себе унижать роман таким чудом — его интересовали чудеса, так сказать, внутренние, утробные...

— Но на этом дело не закончилось, — сказал тайный советник с усмешкой. — То есть само дело мы завершили и сдали в архив, однако оно имело неожиданное продолжение. Вот это продолжение было и впрямь странным... можно сказать, удивительным...

Как только газеты сообщили о смерти князя Алешеньки, в полицию явилась некая мадам Куфайкина, гильдейная купчиха, особа корпулентная и краснолицая, которая потребовала выдачи ей мертвого тела. При этом она предъявила бумаги, из которых следовало, что Алексей Петрович Осорьин-Туровский, князь Рюрикович, был ни много ни мало ее венчанным мужем, а она, стало быть, его законной вдовой — Анной Терентьевной Осорьиной-Туровской. Куфайкиной же она называлась лишь потому, что это славное имя значилось на вывеске ее заведения, доставшегося ей от отца, а тому — от деда, и заведением этим была гробовая лавка.

Бумаги были в полном порядке, но кто-то из полицейских чинов не поленился — съездил на Охту и обнаружил там эту самую лавку Куфайкина с соответствующей вывеской, газетовыми гробами, бумаж-

ными цветами и прочими погребальными принадлежностями.

Мадам Куфайкина-Осорьина не понимала, чем вызвано всеобщее замешательство. Эта маленькая толсто-грудая женщина расправила свои юбки, с достоинством водрузила барочное гузно на стул и, обмахиваясь черным кружевным веером, стала обстоятельно рассказывать о своем «бедном Алешеньке» и его «несчастной дочери Манечке».

Из ее повести следовало, что свел их романтический случай. Анну Терентьевну как-то вечером попытались на улице ограбить, а проходивший мимо Осорьин-Туровский при помощи трости прогнал разбойников и проводил даму до ее дома. По такому случаю она пригласила его на чай, и он согласился. Сначала он был страшно удивлен, увидев лавку с гробами, потом ни с того ни с сего стал хохотать, но вдруг остановился и сказал с каким-то странным выражением лица: «Что ж, это именно то, что мне нужно, мое место, и поделом».

Анна Терентьевна дважды побывала замужем, а потому научилась не придавать значения тому, что говорят мужчины. Поступки же Алексея Петровича были в высшей степени благородными и в каком-то смысле долгожданнами: мадам Куфайкина, по ее словам, «застоялась без хозяина».

Той же ночью Осорьин-Туровский стал ее хозяином, а вскоре — «все чин чином» — отвел ее к алтарю. Анна Терентьевна была бездетна, но дочь своего хозя-

ина приняла в сердце: Манечка была девочкой слабой, болезненной, однако милой и не капризной.

С первых же дней Алексей Петрович — «не смотри, что князь» — энергично взялся за дела в лавке, обнаружив выдающиеся дарования. Он умел сойтись с заказчиком, задобрить, заговорить его до того, что даже люди небольшого достатка выкладывали денежки за дорогой гроб и карету с кучером в цилиндре. Особенно хорош Алексей Петрович оказался в беседах с офицерскими вдовами и богатыми купцами. Благодаря хозяину клиент в лавку пошел жирный, солидный, и мадам Куфайкина стала задумываться о покупке дома получше.

А кроме того, хозяин был большим шутником: когда они, Анна Терентьевна и Алексей Петрович, оставались в лавке одни, муж любил улечься в гроб и изобразить покойника, отчего его супруга хохотала до колик, тогда как хозяин оставался серьезным, как февраль.

По воскресеньям супруги Осорбины с дочерью гуляли в общественных садах, пили лимонад или портер в приличных заведениях, на ночь читали Евангелие — «все чин чином».

Идиллия рухнула враз — умерла Манечка. Простудилась и через неделю умерла.

Анна Терентьевна хотела, чтобы отпевали и хоронили Манечку по высшему разряду, но Алексей Петрович был против, и похороны были скромными.

После же похорон на Осорьина словно нашел столбняк. Неделю он вставал затемно, садился на стул и просиживал в углу не шевелясь, не откликаясь, весь черный и страшный. Анна Терентьевна начала было думать, что муж потерял рассудок от горя, и собралась звать доктора, но однажды Алексей Петрович вдруг вскочил, оделся, взял револьверы, поцеловал жену в щеку и быстро вышел. И только из газет мадам Куфайкина узнала о том, что произошло.

— Как же она плакала, — сказал Полуталов. — Навзрыд, на разрыв... до сих пор не могу забыть того странного чувства — смеси жалости и изумления... плакала и твердила: «Какой стыд! Господи, какой же стыд!»

— Фантастическая история, — проговорил Евгений Николаевич, покачивая головой. — Ставрогин — гробовщик! Мелкий, пошлый делец, купчишка Куфайкин... это ведь ни в какие ворота... Но почему Достоевский прошел мимо этой замечательной истории?

— А я ему ее не рассказывал, — ответил старик с улыбкой. — Он просил не распространяться о его встрече с Осорьиным, ну я и решил не докучать ему более...

Несколько минут они молчали, думая каждый о своем.

Над набережной вдруг взлетел огонь, вспыхнул в вышине, с треском разорвался, рассыпав звезды над морем.

Оркестр в ближайшем кафе заиграл «Боже, царя храни».

Тайный советник снял цилиндр.

— Война, ваше превосходительство! — крикнул пробежавший мимо официант. — Германский царь объявил войну России! Война, господа! Война!

— М-да, — проворчал Полуталов. — Хоть и не сюрприз, а не по себе...

— Что ж, Николай Николаевич, — сказал князь Осорьин. — Спасибо за историю...

Полуталов покачал головой.

— Я старый человек, Евгений Николаевич, и имею право на некоторые выводы, потому что это ведь не простая история, не так ли?

Князь кивнул.

— Видите ли, Евгений Николаевич, — продолжал старик, по-прежнему державший цилиндр в руках, — третья рука эта стала для меня — вы уж не смейтесь — неким символом или метафорой, не знаю, как правильнее. Алексей Петрович Осорьин-Туровский был, конечно, настоящим безбожником, атеистом по личному выбору, безоглядным нигилистом. Но ведь это всеобщая болезнь. Всеобщая и, увы, не поддающаяся лечению. Быть может, эпоха безбожия неизбежна и в каком-то смысле необходима. Иногда я даже думаю, что Богу и самому надоело водить нас на помочах. Выросли — шагайте сами. И пошагали, еще как пошагали. Идея Воплощения стала слишком трудна, не по плечу, не по уму и не по сердцу, а вот Обожествление и проще, и легче. Ведь в нас заложены такие огромные возможно-

сти, и почему бы человеку с такими-то возможностями самому не стать богом? Потом поклонение Богу подменяется поклонением героям, а там и до поклонения тирану рукой подать, причем зачастую — до самого либерального поклонения самому жестокому тирану. А Церковь... впрочем, что я! Никакая Церковь не устоит перед историей, которая движется по пути наименьшего сопротивления, то есть по самому верному пути, даже — по единственно возможному, если угодно. Не устоит. Ни Рим, ни Третий Рим — никто не устоит, нет, оба падут. И к власти придет Ничто, в котором не будет ничего, а только третья рука. Не правая, не левая, не средняя, но третья — понимаете? Она и станет властью. И это будет не золотая середина, но именно последняя крайность — Ничто. — Старик помолчал, потом проговорил задумчиво: — Вот вам и русский выбор — между героем и гробовщиком... Хотя какой тут выбор? Нету выбора между огнем и светом. Впрочем, простите старика, Евгений Николаевич, и прощайте. Пора.

— Прощайте, Николай Николаевич, — сказал Евгений Николаевич, пряча улыбку.

Старик надел цилиндр и двинулся твердой походкой в темноту, сгущавшуюся над набережной, над морем, которое лежало спокойно, блистая лунным светом от края до края...

Новый Дон Жуан

Глядя на роскошный автомобиль с открытым верхом, он вспомнил строчку из Северянина: «В ландо моторном, в ландо шикарном», поморщился, отодвинул плечом фотографа и выстрелил в невзрачного мужчину, крайнего справа, а потом быстро разрядил обойму, стреляя справа налево, не целясь, по пуле каждому — охраннику, секретарю с зеленым бархатным портфелем в руках, мадам Волошиной, господину Волошину, шоферу, а из второго пистолета трижды выстрелил в полицейских, бежавших к машине, двое упали, итого восемь трупов, и бросился в переулок, влетел в подворотню, достал из мусорного бака сверток, сменил канотье на кепку, надел долгополый плащ, двором добежал до бульвара Монпарнас, поймал такси, вышел на набережной, сел за столик под маркизой, заказал абсент и кофе, развернул утреннюю газету, в которой сообщалось о прибытии в Париж важного советского эmissара Во-

лошина, залпом выпил абсент, пригубил кофе, закурил, глядя на всклокоченного юношу за соседним столиком, который читал де Сада, вспомнил: «все бы моментально погибло, если бы на земле существовала одна добродетель», зевнул, расплатился и, сунув руки в карманы, неторопливо зашагал по набережной Монтебелло, не обращая внимания на дождь...

Дождавшись вечерних газет, в которых сообщалось о смерти Волошина, его свиты, случайного прохожего и двоих полицейских, он взял машину в гараже старика Лароша и направился на юго-запад, держа путь в Мёдон. Через полчаса он свернул на дорогу, ведущую к старому парку, в глубине которого темнело громоздкое здание с десятком высоких труб на черепичных крышах. Оставив автомобиль у заброшенной оранжереи, отпер своим ключом боковую дверь, поднялся на второй этаж, включил аляповатый торшер, опустил шторы, сбросил плащ, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, услышал звук открывающейся двери и проговорил, не оборачиваясь: «Милая, я чертовски голоден, но сначала хочу принять ванну», стараясь, чтобы в голосе не было и тени раздражения.

Валери прижалась к его спине всем своим пышным телом, прошептала:

— На ужин будет утка, Серж. Un petit canard boiteux.

И вышла, тяжело припадая на правую ногу.

Они жили вместе почти пять месяцев, но Валери по-прежнему вечерами предпочитала приглушенный свет, бесформенные одеяния, распущенные волосы до плеч, очки с темно-зелеными стеклами и шляпки с вуалью. Она была не только хромоножкой, но и вообще уродливой женщиной — без шеи, без талии, с искривленным позвоночником, короткими толстыми ногами, с россыпью родинок на левой щеке, косящим правым глазом и с маленьким ртом, заставлявшим врачей подозревать микростомию. Но ее маленькие детские руки были прекрасны, поэтому Валери всегда носила платья с короткими рукавами и любила в самый неподходящий момент вдруг снять перчатки, чтобы ослепить окружающих красотой своих тонких длинных пальцев.

Барон д'Аррас, ее отец, позаботился о том, чтобы дочь получила прекрасное домашнее образование и никогда не нуждалась в деньгах. После его смерти заботу о Валери взяли на себя решительная мадам де ла Винь, рыжая Марион, любовница барона, и тихоня Поль, бывший полицейский, отлично разбиравшийся в людях и имевший безупречный нюх на охотников за богатыми наследницами и женщин с шаткими нравственными убеждениями.

Шестнадцатилетняя Валери была свободна в своих расходах, но тратила деньги главным образом на книги, очки и картины непризнанных гениев с площади Тертр.

Она почти не выходила из дома, боясь насмешек, но иногда пересиливала страх и появлялась в людных ме-

стах в сопровождении Марион. Однажды в саду Тюильри компания повес во главе с сыном резинового фабриканта-миллионера принялась издеваться над девушкой. Рыжая Марион с гневом обрушилась на юнцов, но ее грозный вид только насмешил их. С соседней скамейки поднялся мужчина с альбомом для рисования в руках. Он вежливо поинтересовался, не желают ли молодые люди извиниться перед Валери, а когда те издевательски-вежливо ответили отказом, положил альбом на скамейку, достал из кармана автоматический пистолет и расстрелял компанию, не оставив ни одного в живых. На лице его не дрогнул ни один мускул, когда он, спрятав пистолет, приподнял шляпу, извинился перед дамами и неспешной походкой удалился. В воротах сада его попытались задержать двое полицейских — мужчина не моргнув глазом застрелил обоих и скрылся в уличной толпе.

Мадам де ла Винь завладела альбомом, который храбрец впопыхах оставил на скамейке. На одном из листов уверенным карандашом были запечатлены руки Валери, на другом — ее лицо, скорее трагическое, чем некрасивое. Художник явно не пытался приукрасить образ Валери, более того, он проявил безжалостность, не упустив ни одной мучительной детали, подчеркивавшей ее безобразие, но странным образом девушка на рисунке казалась не только беззащитной, но и трогательной, и обаятельной.

Тем же вечером Валери обнаружила незнакомца в своей спальне. Она не стала выяснять, как он проник в дом, а он не стал тратить время на пошлые объяснения — просто овладел ею, облизал языком с головы до пят, а потом овладел. В ту ночь Валери поняла наконец, что означает выражение «всцело принадлежать», которое встречалось ей в книгах: отныне она всцело принадлежала Сержу, который ни разу не солгал, называя ее красавицей и любимой, но при этом трахал ее с таким неистовством, какое расходуют только на красавиц и любимых.

Утром рыжая Марион, как обычно, принесла Валери кофе в постель, и тогда-то Серж и сказал, что вообще-то пришел за альбомом, но столкнулся с непредвиденными обстоятельствами.

Мадам де ла Винь ценила мужчин с чувством юмора и обрадовалась тому, что ее подопечная, которая запрещала называть ее «бедняжкой», наконец-то не выглядела бедняжкой.

Серж почти ничего не рассказывал о себе, но не скрывал принадлежности к преступному миру. У него были безупречные манеры, он со вкусом одевался, стрелял без промаха, был великолепным любовником и при всем при том неплохо разбирался в литературе: пренебрежительно отзывался об Анатоле Франсе и высоко ценил Аполлинера. С ним Валери почти забывала о своем бесформенном теле, некрасивом лице и увечной ноге. Она без стеснения позировала ему голышом

и даже позволила познакомиться с ее дневником, в котором наблюдения за людьми соседствовали с эротическими саморазоблачениями. Ничего взамен она от Сержа не требовала, и эта беззаветность, граничившая с жертвенностью, иногда удивляла ее, но чаще доставляла тихую радость.

Они гуляли в парках, бывали в кино, посещали рестораны, две недели провели в Довиле, и ни разу за все это время Валери не задумывалась о будущем.

За ужином Валери завела разговор про убийство советского эмиссара, о котором прочла в вечерних газетах, и о неуловимом убийце, принадлежавшем, как предполагали журналисты, к тайной организации русских эмигрантов, объявившей войну большевикам.

Серж поднял голову и с интересом посмотрел на Валери: она была возбуждена.

— Да, — сказал он, — это сделал я. Я убил этих людей.

— И княгиню Арморе-Гессен? И Жаннет Дюпон? И Красную Жизель?

— Красная Жизель?

— Жизель Лалуа-Дебре, бакалейщица с улицы Соль. Она была рыжеволосой и однорукой...

Серж пожал плечами.

— К чему этот разговор, Валери?

— Все эти женщины... — Она запнулась. — Все эти женщины были... они все были с изъянами... — Помолчала. — Как я. — Каждое слово давалось ей с трудом. —

Княгиня Арморе-Гессен была горбуньей, а Жаннет Дюпон родилась без ног... без обеих ног... и ты рисовал их... и горбунью, и безногую, и рыжеволосую Жизель... их родственники — все как один — и словом не обмолвились полиции об этих рисунках... ты прекрасный рисовальщик, Серж, ты видишь женщину такой, какова она есть, и при этом какой-то... какой-то другой, настоящей...

Серж молчал, не сводя с нее взгляда.

Валери прерывисто вздохнула.

— Это все Поль... я ни о чем не просила его, но отец взял с него слово, что он будет заботиться обо мне... это так... так неприятно, Серж!

— Старая полицейская ищейка Поль. — Серж закурил папиросу. — Преданный Поль, славный старик...

— Серж, умоляю...

— Бодлер в «Цветах зла» раз и навсегда рассчитался с Дон Жуаном, — проговорил Серж. — Он отправил его в ад — помнишь? *В доспехах каменных стоял с ним некто рядом; но, опершись на меч, безмолвствовал герой и, никого вокруг не удостоив взглядом, смотрел, как темный след терялся за кормой...* Ничего другого ему и не оставалось: герой давно перестал быть героем, превратившись в какого-нибудь мопассановского пошляка-соблазнителя, а женщины — они тоже изменились, они больше не заслуживают тех усилий, которые тратил Дон Жуан на их соблазнение. Женщины не желают быть избранницами, настоящими избранницами, готовыми

рискнуть бессмертной душой, как рисковал ею Дон Жуан. Бессмертная душа! Смешно... — Он помолчал. — Ни индивидуальности, ни страха перед лицом смерти, ни готовности сгореть в аду ради минутного наслаждения. Вместо священного ужаса вознесения — оргазм, вместо богоотступничества — учебник гигиены. Плоть больше не священна, а значит, и душа смертна и ничтожна. Впрочем... — погасил папиросу в пепельнице. — Впрочем, это не совсем верно. Остались еще женщины с кровоточащим сердцем... женщины с изъязмом, как ты выразилась... Собственно, только они сегодня и имеют право называться настоящими женщинами. Они боятся считать себя женщинами, они презирают себя всей душой, и сама мысль о мужчине вызывает у них ужас... и если мужчина приходит к ним, то он является из мира кровавых мечтаний, мучений и гибели... Только такие женщины и способны оценить падение, только они способны понять, чего на самом деле стоит любовь, какова ее истинная цена... только они считают каждый миг близости последним, а значит, только им ведома красота жизни и цена бессмертия... — Усмехнулся. — Они уродливы, но часто защищают свою девственность, как последние христиане — последнюю церковь на земле, а если сдаются сразу, то победителю приходится платить за это своей свободой... а избавиться от них обычным путем иногда попросту невозможно...

— Тебе нравится убивать, Серж? — шепотом спросила Валери.

— Ну что ты, нет, конечно! Что ж в этом интересного? Другое дело — планировать, готовиться, подкрадываться, овладевать, а потом уходить от погони, скрываться, обманывать и в конце концов оставаться безнаказанным. Тут приходится играть несколько ролей зараз — и охотника, и жертву, и свидетеля, и победителя, и проигравшего... И это действительно интересно, без дураков...

Валери попыталась улыбнуться, но безуспешно.

— Неужели обязательно убивать? Ведь ты всегда можешь просто уйти, а женщина — женщина смирится, что ж...

— Просто уйти... — Серж покачал головой. — Если можно просто уйти, тогда незачем и приходить...

— Серж, но должен же быть выход...

— В этом лабиринте, Валери, выход всегда там же, где и вход. — Он вдруг наклонился к ней с улыбкой — она подалась к нему — и внезапно ударил прямыми сомкнутыми пальцами в горло. — Всегда.

Валери откинулась на спинку стула, пытаясь вздохнуть, но вздохнуть ей никак не удавалось, она подавилась болью, глаза ее вылезли из орбит, потекло из носа, изо рта и по шелковым чулкам, и через мгновение она, вся дрожа, повалилась набок, лягнула ногой стул и замерла.

Убить старика Поля, бывалого полицейского, оказалось легче легкого: Серж застрелил его, когда тот посреди своей спальни возился с панталонами кухарки,

стоявшей к нему спиной. А вот мадам де ла Винь успела запереться в туалете, и Сержу пришлось рубить дверь топором, а потом снова, второй раз за вечер, принимать ванну и переодеваться.

В полночь он выпил рюмку коньяку, сложил деньги и драгоценности в два стареньких саквояжа, заправил топливом «Роллс-Ройс» покойного барона д'Арраса, которым пользовались только по большим праздникам, и через несколько минут уже мчался по шоссе на юг, чтобы выпить кофе в Лионе, позавтракать, может быть, в Валансе, а пообедать в Монако.

Серж Сорьин был внебрачным сыном князя Мишеля Осорьина от милой горбунышки Оленьки Абросимовой, которая давала уроки музыки его дочерям. Старый пьяница, вдовец и ловелас не мог устоять перед ее нежной кожей и огромными глазами страдальческой красоты. Связь была мимолетной, грязной, карамазовской, но когда Оленька родила, старшие дети Осорьина настояли на том, чтобы отец позаботился о женщине и ребенке. И хотя старый князь официально не признал сына, Сергей никогда не нуждался. Князь подарил его матери уютный дом в Москве и назначил приличное содержание. Мальчика окружали дорогие учителя и гувернантки, а лето он проводил в подмосковном имении в компании младших Осорьиных.

Мальчик рос довольно замкнутым, никогда не бывая о том, что он — бастард, незаконнорожденный,

левый сын, лишенный титула и начальной буквы в фамилии, и эта буква мучила его больше, чем отсутствие права на «ваше сиятельство». Он презирал мать, которая млела при одном виде князя Мишеля, начинала суетиться, приносила плед, рюмку водки на подносе, играла ему Шопена, которого тот обожал, и вообще готова была в лепешку расшибиться ради старого седладона, снисходительно принимавшего ее поклонение.

Князь был сибаритом, любителем всего «вкусенького» — вкусеньких книг и вкусеньких женщин, и иногда говорил, что Дон Жуан и дьявол руководствуются одним правилом: *хочешь соблазнить — выслушай.*

Серж преуспевал в учебе и, как вскоре выяснилось, обладал строгим вкусом что в одежде, что в словесности. Например, лучшим образцом русской прозы он считал не «Капитанскую дочку» или «Анну Каренину», а приказ князя Барятинского по войскам, состоявший всего из восьми слов и изданный в 1859 году, по завершении Кавказской войны: «Аул Гуниб взят. Шамиль пленен. Поздравляю Кавказскую армию». Из поэтов он предпочитал Бодлера, а из русских снисходил только до Тютчева и Иннокентия Анненского.

В корпусе он начал писать стихи, но признался в этом одному человеку — Георгию Граббе, Жоржу, который тоже сочинял стихи и печатался под псевдонимом Навьев.

Жорж был всего на год старше, но держался стариком, много повидавшим и пережившим. Самой, пожалуй, привлекательной чертой Жоржа Сорьин считал его герметизм, снобизм, выражавшийся в презрении к читателю, вообще к публичности и славе. Жорж был убежден в том, что поэт творит только для себя и не вправе ожидать никакого отклика или награды от читателя, ибо поэтическое деяние самодостаточно, являясь искусством самоублажения (*indulgere genio*). Более того, он порицал романтиков за то, что в их поэзии слишком много поэта, тогда как настоящий творец — не персона, но тень, взывающая *ex abyssis tenebrarum*, человек без лица, отказавшийся от надежды. Он сравнивал поэта с духовным Дон Жуаном, актером, который одновременно играет роль соблазнителя и соблазняемой, любовника, который мысленно воображает нагое тело женщины, ее движения в постели и ее негу, ласкает ее, обладая ею без ее ведома и даже в присутствии ее супруга.

«Ну а уж если духовные упражнения *in voluptate psychologica* кажутся физически недостаточными, ограничьте себя — сознательно ограничьте — дурнушками, а еще лучше — калекami, — заключал Жорж с неподражаемой своей ухмылкой. — Это как раз тот случай, когда физическое деяние становится духовным подвигом».

Незадолго до выпуска из корпуса у Жоржа обнаружилась чахотка, родные увезли его во Францию, где жила его старенькая тетушка, и через год Серж

узнал о смерти друга, похороненного на маленьком сельском кладбище под черной мраморной плитой, на которой, согласно его воле, не было высечено никакого имени.

Сорьин окончил Александровское военное училище с премией Энгельсона, прошел всю войну, заслужив два Георгия за храбрость, был дважды ранен, контужен, произведен в штабс-капитаны, воевал с большевиками на Кубани и в Крыму, после Галлиполийского лагеря пытался устроиться в Белграде, но осел в Праге, женившись на красивой оперной певице-немке. Он много лет пытался срастись с женщиной, их у него было немало, но все не срасталось, а тут вдруг решился, шагнул — лучше не стало, но и плохо не было.

От друзей и знакомых приходили известия о судьбе родных и близких, оставшихся в России: кто-то пошел в службу к большевикам, кому-то повезло эмигрировать — в Европу, Америку, Харбин, Монтевидео, Асунсьон... кому-то повезло больше — они погибли... Его мать работала тапершей в кинотеатрике, вышла замуж за старика-сапожника — ему доставляло удовольствие избивать «ее сиятельство», хотя, конечно, никаким сиятельством милая горбуньешка Оленька никогда не была...

Он не тосковал об утраченной родине, которую было не вернуть, он и был родиной со всеми ее рассветами и закатами, с Лизаветами и Сонечками, с бунтами и буднями, запахами и красками, с ее царями и ее су-

масшедшими, с поэтами и бомбистами, с ее шипящими и сонорными, с бессонницей, с серой полосой неба между шторами, весь — рана, весь — самоотречение, весь — тоска, весь — небытие, мертвый среди живых... бессмысленный и немой... кофе, пожалуйста, плиз, силъ ву пле, битте, пер фаворе... о боже, какие ж глупости приходили иногда ему в голову, и слава богу, что голова у него не болела никогда...

Серж посещал русские кружки, которых много тогда образовалось в Европе. Эмигранты обсуждали возможности сотрудничества с советской властью и возможности сопротивления большевизму, говорили о деятельности новых русских издательств в Берлине и русских учебных заведений во Франции и Чехословакии...

Он не находил себе места, а характер требовал дела. И однажды в компании с двумя такими же отчаянными офицерами-галлиполийцами отправился в Швейцарию, чтобы уничтожить известного резидента ОГПУ Радзиевского, жившего на окраине Цюриха. Радзиевский успел вызвать полицию, перестрелка завязалась нешуточная, друзья Сержа действовали нерешительно, большевистские агенты погибли, но офицеров арестовала цюрихская полиция. Когда арестованных перевозили в тюрьму, Серж в одиночку напал на конвой, освободил офицеров, помог им перебраться в Германию и предупредил: «Мы остаемся товарищами, но больше мы не соратники. Вы не готовы сражаться, не обращая внимания на женщин и детей, а это гибель. Вовсе не

обязательно специально убивать невинных, но тут как в шахматах: тронул — ходи». Товарищи обиделись, заявив, что Серж ведет себя по-большевистски, — на том и расстались.

По возвращении в Прагу Серж застал красавицу-немку с любовником-студентом, студент от страха схватился за револьвер — Серж убил обоих и тем же вечером уехал в Париж.

Он охотился за большевистскими агентами по всей Европе, дважды его задерживали, но свидетели ничем не могли помочь полиции — внешность Сержа была такой нормальной, такой правильной, он был таким «как все», что опознать его не мог никто.

После убийства Чернова-Сольца ему пришлось надолго покинуть Париж и поселиться на ферме под Шартром, которой владели сестры Годе. Серж чинил их грузовик и трактор, спал с Жанной, старшей сестрой, рисовал младшую — дурочку Эдит, глухонемую и похотливую, у которой было толстое красивое тело. По воскресеньям Жанна напивалась и избивала младшую сестру. Однажды Эдит не выдержала и дала сдачи, а потом скормила тело сестры свиньям. После этого вымылась с головы до ног ледяной водой, надела на голову цветочный венок и явилась в спальню к Сержу со свечой в одной руке и серпом в другой. Может быть, она хотела только любви, но Серж устал от сестер Годе. Той же ночью он уехал в Париж.

Ад — это обыденность, это такое же место, как все другие места, и жизнь в аду — дело привычки. Серж не

ждал отклика и оклика — он вставал по утрам, брился, читал газету, пил кофе, вечером ходил в кино на Чарли Чаплина, ложился спать... В огне этой обыденности сгорают миллиарды, которые разучились чувствовать боль. Серж с детства был изгоем, как бы ни старались близкие разуверить его в этом, и ему не приходилось переступать через себя, чтобы понимать и обнимать всех этих несчастных женщин — горбатых, хромых, безногих. Он был искренен, когда пытался найти в них неуловимый отблеск рая и запечатлеть его на бумаге, но когда находил, то терял к ним интерес. Он видел в них сестер по аду, не более того.

В детстве он мечтал о книге, которая была бы всеми книгами мира, но вскоре понял, что взросление — это путь от Библии к библиотеке, от мудрости к знаниям, и этот путь давно пройден. Когда он знакомился с уродливой женщиной, ему и в голову не приходила мысль об убийстве, но такие женщины — особенные, с изъяном — склонны считать польстившегося на них мужчину не одним, но единственным, и они были готовы на крайности, чтобы удержать его, удержать любой ценой. Они не догадывались о том, что Серж уже давно не задумывался о цене и платил без колебаний. И они не были и не могли быть для него единственными: если Бога нет, то нет и разницы между священным качеством и священным количеством.

Он выпил кофе в Лионе, позавтракал в Валансе, пообедал в Монако, а после обеда отправился в небольшую деревушку на берегу моря, на кладбище, где был похоронен Георгий Граббе, Жорж Навьев. Он сразу нашел его могилу — гладкая плита черного мрамора без имени, без даты, чистая и безупречная. На уголке плиты лежал увядший букет полевых цветов.

— Это мои цветы, — услышал Серж задыхающийся девичий голос. — Я набрала свежих. Вы его знали? От чего он умер?

Девушке было лет шестнадцать-семнадцать. На ней было просторное простое белое платье, сандалии на босу ногу и соломенная шляпка. В руках она держала сложенный зонтик и букет.

— От чахотки, — сказал Серж. — Его звали Георгием, и он умер от чахотки.

— А я умру от сердца, — весело сказала девушка. — У меня больное сердце. А еще я слепая.

Она сняла очки с круглыми синими стеклами и протянула руку.

— Мадемуазель Лопухина. — Фыркнула. — Вообще-то — просто Анна.

— Сергей. — Он пожал ее руку. — Серж Сорбин. Как же вы различаете цветы?

— По запаху. Рву и нюхаю. Если не нравится, выбрасываю.

Она протянула ему букет.

Серж смахнул увядшие цветы на дорожку и положил свежий букет на черный мрамор.

— Маман говорит, что это черный мрамор... просто черный мрамор, без букв... как дверь... или как это... там какое-то там...

— Mare tenebrarum. Море мрака.

— Значит, маман не обманула. Вообще-то, она знатная врунья, а я вынуждена ей доверять. Она неделями пропадает в Монако, играет, проигрывает и путается с мужчинами...

— Вы давно здесь живете?

— Сто лет, — сказала девушка. — Кем он был, этот ваш Георгий?

— Поэтом.

— О, я так и думала! Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои... Вы будете здесь жить?

— Вряд ли.

— А куда вы едете? Я слышала, вы приехали на автомобиле...

— В Италию.

— Возьмите меня с собой. Я никогда не бывала в Италии. Маман все равно, она и через неделю не спохватится...

— Анна...

— Я не буду обузой, Серж, ну пожалуйста! Вы расскажете мне о море, о горах, об Италии... и обо мне...

— О вас?

— Маман говорит, что я не красавица, но не лишена шарма, но это все болтовня. Кому нужен мой шарм? Слепая да еще и без денег... И потом, я не знаю, какая я на самом деле. Маман говорит, что я похожа на сливу, но что это значит — на сливу? Почему на сливу? Понимаете? У других девушек есть зеркало или мужчина, а у меня — ничего... Почему вы не смеетесь? Ах да, это же кладбище... Но вы согласны сыграть роль моего зеркала или моего мужчины? Согласны или нет?

— Что вы хотите услышать?

— Держите!

Она протянула ему шляпку и зонтик, одним движением сняла с себя платье, оставшись в одних сандалиях, и выпрямилась, уперев руки в бока.

Она была полновата белоснежной гладкой полнотой, с гляцевитой кожей, высокой шеей, небольшой красивой грудью, узкой талией и широкими бедрами — у нее было идеальное тело.

Серж вздохнул и, тщательно подбирая слова, описал ее.

— Спасибо. А теперь помогите.

И она подняла руки, чтобы ему было удобнее одевать ее.

— От вас приятно пахнет, — сказала она, когда они сели в машину. — Вином, табаком, бензином, чем-то еще... не знаю чем, но тоже приятно... будоражаще... Поцелуйте меня, пожалуйста, Серж. Просто так. Пожалуйста. С познавательной целью. Я никогда не целовалась с мужчиной...

Он взял ее за плечи и поцеловал в губы.

На мгновение она замерла, потом выдохнула.

— О черт, — прошептала она. — Поехали же, не то я сейчас разревусь!

Он развернул машину на площадке перед кладбищенскими воротами и дал газу.

— В ландо моторном, в ландо шикарном! Ура! — закричала Анна, схватившись обеими руками за шляпку. — Мы забыли зонтик!

— Вернемся?

— Ни за что! Плохая примета! Да и черт с ним, с зонтиком!

Дорога шла вверх по серпантину.

Она умолкла, прижавшись к Сержу, положив голову на его плечо.

Солнце садилось, но было еще тепло.

На перевале Серж остановил машину.

— Анна, — позвал он тихо.

Она не откликнулась.

Он чувствовал, как остывает его правое плечо. Коснулся губами ее лба, взял ее на руки, усадил под высоким платаном, опустился на корточки и долго молчал, ни о чем не думая и ничего не чувствуя, крепко сжимая ее руку в своих.

Начинало темнеть, когда он сел в машину. На каждом повороте серпантина, ведущего вниз, он поднимал голову и видел Анну в белом платье, сидевшую под платаном, и с каждым поворотом ее фигурка становилась

меньше, и он ехал все медленнее и на повороте снова смотрел вверх, и снова, и снова, погружаясь все глубже, тогда как она возносилась все выше, пока скала не закрыла темнеющее небо, и только перед глазами все еще дрожало светлое пятнышко, похожее на сливу, и другого света больше не было...

После границы он взял курс на северо-восток, рассчитывая пообедать в Лозанне.

Века Авраама и стад его

18 декабря 1963 года в Лондоне был казнен сэр Алекс Осорбин, князь Александр Иванович Осорбин, профессор Оксфорда, славист с мировым именем, который изнасиловал и жестоко убил Фанни Браун, сироту, калеку и дурочку, известную также под прозвищем Блаженная Фанни (Savougy Fanny).

Вечером 17 апреля 1962 года Алекс Осорбин встретил Фанни на улице, пригласил ее в свой дом, стоявший на берегу Айсиса, изнасиловал, задушил, изуродовал ее тело при помощи кухонного ножа, а потом позвонил в полицию и сообщил о преступлении.

Во время следствия выяснилось, что на его счету еще два убийства — Ингрид Домингес, студентки из колледжа Святой Анны, и Эллен Джонс, порتلандской проститутки.

Экспертиза признала его вменяемым, и суд приговорил князя Осорбина к смерти через повешение за шею.

Об этом преступлении писала вся британская пресса — от таблоидов до «Таймс». Газеты публиковали биографию Алекса Осорьина, называя ее ни много ни мало «историей одного убийцы» и при этом мешая факты со слухами и сплетнями.

Александр Иванович Осорьин принадлежал к старинному княжескому роду. Он родился в 1898 году, учился в Московском и Лейпцигском университетах, слушал лекции Фортунатова, дружил с Николаем Трубецким.

В годы Гражданской войны вступил в Белую армию, в 1920 году стрелялся из-за женщины на дуэли и убил соперника. Эта женщина — Елизавета Ласуцкая — и стала его первой женой. Спасаясь от красных и белых, супруги бежали из Крыма в Болгарию, откуда перебрались в Германию, в Мюнстер, а затем в саксонский городок Нидденбург.

В 1920–1930-х годах Осорьин выступал с лекциями в Варшаве, Сорбонне, Кенигсберге и Оксфорде, в Нидденбургском университете читал курс истории русской духовной жизни (*Russische Geistesgeschichte*), сотрудничал с русской эмигрантской прессой, в частности с бердяевским журналом «Путь», опубликовал множество научных работ, в том числе монографическую статью о суффиксах в романах Достоевского. Тогда же он вступил в известную дискуссию о причинах утраты склонения в болгарском языке, в которой участвовали зна-

менитые слависты — Мейе, Дж. Мавер, Мазон, Ягич, К. Г. Майер и другие.

В самом конце двадцатых годов Александр Иванович познакомился с Эстер Ожеро, ослепительной красавицей и авантюристкой, ради которой оставил семью. Жена его уехала с детьми в Англию, к родственникам, а он разрывался между Нидденбургом и Парижем, где жила его любовница. Роман был бурным, болезненным, и неизвестно, чем бы он закончился, если бы в 1930 году Эстер Ожеро не была арестована французской полицией. Ее подозревали в причастности к похищению агентами ОГПУ генерала Кутепова, главы антисоветского Русского общевоинского союза. В тюремной камере Эстер покончила с собой, приняв яд.

Поскольку полиция не располагала фактами, изобличающими Осорьина в связях с большевистскими секретными службами, его оставили в покое.

Он вернулся в Нидденбург, женился на своей студентке Габриэле фон Гюльтинген, происходившей из древнего швабского дворянского рода, и с головой погрузился в научно-преподавательскую деятельность.

В те годы он увлекся мистиками, обнаруживая общее у Тихона Задонского, Юлиании Норвичской, Паскаля и Пауля Герхардта. Свои статьи он все чаще подписывал новым именем — Алекс фон Осорьин. В одной из них, посвященной Григорию Паламе, он пишет о любви, которая «как правило, оказывается

вовсе не тем, что ведет к удовлетворению желаний, но тем, что пробуждает человека к новой жизни, часто при этом открывая ворота злу, если это чувство не является отблеском любви Господней».

Осенью 1941 года Александр Иванович оказывается на Восточном фронте, в России. Военным требуется его опыт специалиста — слависта и переводчика. Зондерфюрер Осорьин посещает лагеря военнопленных в окрестностях осажденного Ленинграда, встречается с местными жителями, составляет аналитические записки, в которых, в частности, размышляет о путях возрождения великой России, исторически и духовно родственной великой Германии.

Впрочем, уже в конце января 1942 года он возвращается в Нидденбург, к жене и детям, к университетским обязанностям.

В 1944 году, после гибели жены и детей от английской авиабомбы, Александр Иванович сблизился с молодым славистом Германом Винтером. Винтер писал об этих встречах в своем дневнике, отзываясь об Осорьине с большой теплотой. По вечерам за стаканом вина они говорили о войне и неизбежном ее финале, о русской идее и будущем Европы.

Александр Иванович считал, что массовые войны нового времени с особенной остротой ставят проблему личной ответственности, проблему человеческого

в человеке. Прежние войны при всей их жестокости не были преступными, хотя и сопровождались тысячами преступлений, в том числе против мирного населения. Участники тех войн, передавая свою ответственность за содеянное «кому-то», не испытывали мук совести, поскольку войны прежних эпох не покушались на религиозную картину мира. Люди, пришедшие с войны, чувствовали усталость, но не стыд, потому что Бог по-прежнему оставался с ними. Нынешняя же война, говорил Осорьин, отменив чувство вины en masse, отменила тем самым и покаяние, и преобразование, и оправдание человека перед лицом Бога и истории, в конце концов — отменила Бога, вселив в людей мысль о том, что *платить не надо*. Это даже не мысль, это чувство — чувство освобождения, чувство полной свободы, радостное и безмозглае. Человек освободился от необходимости выбирать между добром и злом, освободился от необходимости платить за свой выбор. Люди утратили главную потребность — потребность в стыде, чувстве вины, которое и отличает человека от животного. На наших глазах человек лишается человеческого, во всяком случае — того небольшого, что мы привыкли считать человеческим в человеке. Таковы реалии обезбоженного мира, в котором личная вина подменяется фикцией коллективной ответственности, в котором и преступление, и наказание оказываются такими же бескровными фикциями. Этот новый мир — мир мертвецов, nihil-мир, и сохранить человеческое

достоинство и остаться в живых в нем можно только одним способом — взять на себя вину за то, чего ты не совершал. Разумеется, это насилие над собой, отказ от ума, но это насилие сегодня остается единственно возможным актом человеческой воли, единственным подлинно человеческим деянием. Бог-для-всех сегодня может быть только Богом-для-меня: аз есмь Иисус, воскрешающий Лазаря, и аз есмь Лазарь, воскресающий к Господу моему Иисусу...

Как вспоминает в своем дневнике Герман Винтер, разговор естественным образом обращался к Достоевскому, к «Преступлению и наказанию», финал которого потряс Запад именно потому, что такой финал невозможен в немецком, английском или французском романе, ибо поступок Раскольникова — его признание в убийстве — с точки зрения европейца может трактоваться только как сознательный отказ от ума, от последнего шанса, от борьбы, от победы, что для Достоевского равнозначно спасению, а для европейца — поражению...

В апреле 1945 года, когда русская авиация и артиллерия превращали Нидденбург в груду развалин, Александр Иванович Осорьин перед семнадцатью немецкими студентами читал в уцелевшей аудитории университета последнюю лекцию о романе Достоевского «Преступление и наказание». Речь шла о сне Рас-

кольникова, о моровой язве разделения человечества, о мистических трихинах, из-за которых, говорится в романе, «люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром».

Под грохот русских пушек Осорьин говорил о разделении и братстве, о древних и высоких значениях немецкого слова *Heil* — цель, исцеление, целостность, которые невольно вспоминаются, когда думаешь о Достоевском, и эти значения, до сих пор живущие в языке, не только напоминают нам о прошлом, когда люди были едины в Боге, но и о великой мечте — о преодолении раскола и одиночества, об исцелении и о том дне, когда миллионы сольются в братском объятии, в пламени божественной любви...

«В выбитые окна тянуло дымом, пахло пороховой гарью, треснувшая стена грозила вот-вот обвалиться, но мы не обращали на все это внимания, — вспоми-

нал позднее один из студентов. — Мы были захвачены огненными видениями, пораженные в самое сердце словами полубезумного профессора, его экстатической верой, особенно впечатляющей в разгар Апокалипсиса, и в те минуты мы верили ему безусловно, и ничто — ни гром орудий, ни страх смерти — не могло поколебать вспыхнувшего на миг чувства единства, которое охватило нас и, казалось, вознесло выше самой смерти, выше ада, бушевавшего вокруг. В те минуты мы чувствовали себя последними людьми на дне преисподней, узревшими свет спасения. Незабываемое чувство, забываемый день, забываемая лекция, и когда профессор под занавес воскликнул: «Heil!» — аудитория ответила ему троекратным «Heil!»...»

Друзья помогли Александру Ивановичу перебраться на Запад. Он работал в Крествуде, штат Кентукки, читал лекции в Свято-Владимирской духовной семинарии, но вскоре вернулся в Европу и стал преподавать в Оксфорде. Выход в свет его двухтомника об эволюции языка и стиля Достоевского закрепил за ним славу одного из крупнейших славистов современности. А фундаментальное исследование об английской мистике (Ричард Ролл, Юлиания Норвичская, Уолтер Хилтон, «Облако неведения») принесло ему рыцарский титул.

Осорьин жил в своем уютном доме на берегу Темзы, которая в Оксфорде называется Айсисом, читал

лекции, публиковал статьи в научных изданиях, играл в шахматы с коллегами в клубе, отпуск проводил на юге Испании, путешествовал по Греции, дважды побывал в Иерусалиме и на Афоне. Он часто посещал музей изобразительных искусств в Оксфорде, подолгу задерживаясь перед «Ночной охотой» Паоло Уччелло — это была его любимая картина. Александр Иванович даже заказал ее копию, для которой отвел отдельную комнату рядом с кабинетом, где часто проводил одинокие вечера.

Его подруга Кьяра Панич, профессор логики и любительница живописи, рассказывала ему об Уччелло, который казался «лишним человеком» среди живописцев Кватроченто, стремившихся к натурализму и добивавшихся на этом пути выдающихся результатов (Донателло, Мазаччо, Гирландайо, Боттичелли). Ретроград же Уччелло не отражал реальность, пренебрегая правдоподобием и стремясь организовать пространство картины таким образом, чтобы каждая деталь в нем была «неотменимой частью целого», и этой цели были подчинены и перспектива, напоминающая водоворот, и неестественно-яркий колорит его работ, за что его порицал Вазари. Кьяра говорила о «Ночной охоте», где «удаляющиеся и теряющиеся во мраке деревья навевают мысли о таинственности мира, в котором человек так легко может потеряться и никогда не найтись». Еще миг — и эти четырнадцать всадников, одиннадцать загонщиков и двадцать одна гончая, пре-

следующие незримую цель, достигнут некоей точки в темноте, перейдут черту и окажутся там, откуда нет возврата...

Возможно также, говорила Кьяра, что эта картина — аллегория любовной охоты. Некоторые полагают, что «Ночная охота» — это иллюстрация к утраченному литературному произведению, которое принадлежало то ли автору из круга Лоренцо Великолепного, где в такой чести были аллегории, то ли сочинителю фантастических, волшебных историй, которыми зачитывались при феррарском дворе князя д'Эсте, покровителя Боярдо...

Несколько раз Александр Иванович пытался рассказать Кьяре какую-то историю, связанную, как она тогда думала, с этой загадочной картиной, но всякий раз останавливался, а потом он убил Ингрид Домингес, студентку колледжа Святой Анны, затем Эллен Джонс, проститутку из Портленда, и наконец ему попала на глаза Фанни Браун, Блаженная Фанни, калеса и дурочка, которую он изнасиловал, задушил и изуродовал при помощи кухонного ножа, после чего вызвал полицию, а 18 декабря 1963 года, после следствия и суда, был повешен за шею, и Кьяра Панич надолго забыла о Паоло Уччелло, его «Ночной охоте» и о той истории, которую Осорьин несколько раз принимался рассказывать, но обрывал на полуслове.

Кьяра старалась не читать газет, которые искали корни преступления в биографии Осорьина, сотрудничавшего сначала с ОГПУ, а затем и с абвером.

По прошествии установленного законом срока имущество Александра Ивановича — у него не оказалось наследников — было распродано, книги переданы в университетскую библиотеку, а рукописи с разрешения полиции забрала Кьяра Панич. Ей же досталась и копия «Ночной охоты».

В начале семидесятых Кьяра получила приглашение в провинциальный американский университет. Незадолго до отъезда она решила разобрать бумаги Осорьина, упакованные в несколько картонных коробок и хранившиеся в гараже.

Среди бумаг оказалось письмо, адресованное ей, Кьяре Панич, и написанное за день до убийства Блаженной Фанни, но не отправленное адресату. Точнее, это был черновик, набросок письма, местами бессвязный, иногда темный.

Александр Иванович обращался к любимой женщине, пытаясь объяснить причины, толкнувшие его на преступления. Он вспоминал о своем романе с Эстер Ожеро, об их первой встрече и том «темном безжалостном пламени, которое спалило их дотла, лишив рассудка», и с удивлением писал о том, как мало нужно огня, чтобы уничтожить разум, воспитание, положительные привычки, уважение к традиции, умение отличать добро от зла — все то, что составляет незыблемую и необсуждаемую норму, безотчетное следование которой и есть культура, и есть человек.

«Страсть — это не любовь, — писал Осорьин, — страсть убивает любовь, и только случай спас меня тогда от гибели полной и окончательной... Вернувшись из Парижа в Нидденбург, женившись и с головой погружившись в науку и семейные заботы, я спас свою жизнь, но не душу. Она, моя душа, помимо моей воли продолжала охоту за незримой и неведомой целью, стремясь перейти черту и оказаться во тьме, откуда нет возврата, а я об этом даже не догадывался. Но душа принадлежит нам в той же мере, в какой и мы принадлежим душе, поэтому в моем случае не было, нет и быть не может попытки снять с себя ответственность за содеянное, увернуться от стыда...»

Осорьин пишет о Германе Винтере, который после смерти жены и детей стал единственным его другом и собеседником. Чаще всего они встречались у Александра Ивановича, но однажды Винтер пригласил профессора к себе. Это случилось в апреле 1945 года, незадолго до того дня, когда советские танки ворвались на улицы Нидденбурга. И именно там, в маленьком доме на тихой Линденштрассе, Александр Иванович встретил Анну Леви, юную еврейку, которую Винтер прятал от гестапо.

«Она поздоровалась и прошла мимо, едва коснувшись моей руки своим рукавом, и этого оказалось достаточно, чтобы погиб мир. Запах корицы, влажный взгляд, маленькое круглое ушко — Боже мой, полчаса, миг, несколько слов, вот и все, и все это я унес с собой,

а когда обнаружил все это в своем доме — запах корицы, влажный взгляд, маленькое круглое ушко, понял, что готов на все, чтобы завладеть этой девушкой. Ее рукав, коснувшийся моей руки, только о нем я и думал, когда сел за стол и стал писать донос на Винтера, когда сам отнес его в гестапо, когда ждал у дома на Линденштрассе, строя планы один фантастичнее другого. На что я надеялся? Ведь гестаповцы забрали бы не только Винтера, но и Анну. И как я намеревался завладеть ею, каким образом? Не помню. Помню только, что меня била дрожь. Помню только, что я был как горящий дом, дом с рушащимися перекрытиями, в глубине которого, среди дыма и пламени, мечутся обреченные люди, и каждым обреченным человеком был я, только я, обожженный, приговоренный, безумный, вопящий, и, словно откликаясь на мой крик, на огонь, бушевавший в моей погибающей душе, над городом появились английские самолеты, и одна из первых бомб попала в дом Германа Винтера, разнеся и здание, и мои надежды на мелкие куски. Меня отбросило взрывной волной в канаву, а когда я очнулся, сирены воздушной тревоги уже молчали, пыль улеглась, какие-то люди копошились в развалинах... все кончилось...»

Все кончилось там и тогда, в Нидденбурге апреля 45-го, но Осорьин жил с этим много лет. Он читал и перечитывал Достоевского, писал о нем, публиковал научные работы, углубляясь в «Облако неведения»,

преподавал, пил пиво в пабе с коллегами после лекций, прислушиваясь к ударам Большого Тома, знаменитого оксфордского колокола, разбирал шахматные задачи, занимался любовью с Кьярой, всматривался в «Ночную охоту», пытаясь поймать взглядом ту точку, ту черту, из-за которой нет возврата, и думал о Германе Винтере и Анне Леви, о ее рукаве, коснувшемся его руки, о запахе корицы, влажном взгляде и маленьком круглом ушке, о том, как писал донос, как сам отнес его в гестапо, как ждал у дома на Линденштрассе, когда же гестаповцы придут за Винтером и Анной, но гестаповцы так и не пришли — может быть, им в те дни и вовсе было уже не до того, может быть, они бросили его донос в какой-нибудь дальний ящик или даже сожгли, потому что их мысли были заняты спасением из этого ада, поиском путей к отступлению, к бегству от русских танков, может быть, Винтер и Анна по этой причине могли бы остаться в живых, если бы не английская бомба, которая превратила дом на Линденштрассе в руины, убив одним махом и Винтера, и Анну, в чем Осорьин, конечно же, не был виноват, нет, не был, но все это — ее рукав, ее влажный взгляд, донос, дрожь, которая была Осорьина, рев авиационных моторов, взрыв, дым, огонь — все это стало его тьмой, его адом на годы, на долгие годы, и оставалось только одно — устремиться в эту тьму вслед за охотниками, загонщиками и гончими, чтобы там, за деревьями, настигнуть добычу, стать иным, другим, пройти через преображение и получить

прощение, в пламени которого горят только тела, но не души, нет, не души, и он убил Ингрид Домингес, но не отважился на подвиг, а потом он убил Эллен Джонс, но и на этот раз ему не хватило смелости. И наконец 17 апреля 1962 года он встретил Блаженную Фанни, калеку и дурочку, существо чистое и священное, и совершил двойное жертвоприношение, и не дрогнула рука его, когда он крутил диск телефона, набирая номер полиции, и голос его не дрогнул, когда он говорил об убийстве, и на допросах он ничего не скрывал, разве что не упоминал ни Германа Винтера, ни Анну Леви, ни дом на Линденштрассе, ни донос в гестапо, ни дрожь, ни взрыв английской авиабомбы, ибо это не касалось людей, это было между ним и Тем, Кто вяжет и развязывает, и когда он услышал приговор, и когда его ввели в комнату с люком в полу, и когда на шею его накинули петлю, он не испытывал волнения, потому что был наконец-то свободен чистой свободой, родившейся из гармоничного совпадения законов человеческих, законов государственных и законов Божиих, и в предчувствии этой минуты, в предчувствии того мига, когда точка будет достигнута и черта перейдена, он завершал письмо любимой женщине цитатой из эпилога «Преступления и наказания», говорившей о его чувствах с такой прямоотой и спокойствием, словно он уже достиг того высокого берега, с которого «открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем не-

обозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его», и больше ничего не сказал, ничего не написал, ибо слова, любые слова уже были, к счастью, и бессильны, и не нужны...

Содержание

ЯД И МЁД	5
ОСОРЬИНСКИЕ ХРОНИКИ	123
Киевский август	125
Борис и Глеб	138
Смерть элѣфанта	147
Дело графа О.	161
Аталиа	171
Добела, но не дочиста	188
Повесть о князе Алешеньке	219
Новый Дон Жуан	246
Века Авраама и стад его	267

Литературно-художественное издание

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА

Проза Юрия Буйды

Буйда Юрий Васильевич

ЯД И МЕД

Ответственный редактор *О. Аминова*
Ведущий редактор *Ю. Качалкина*
Младший редактор *О. Крылова*
Художественный редактор *А. Марьчев*
Технический редактор *О. Лёвкин*
Компьютерная верстка *Л. Панина*
Корректор *О. Степанова*

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша
арыз-талаптарды қабылдаушының

өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 2 51 59 89, 90, 91, 92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно
законодательству РФ о техническом регулировании можно
получить по адресу: <http://eksmo.ru/certification/>

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 04.12.2013. Формат 80x108¹/₃₂.
Гарнитура «Garamond Premier». Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,4.

Тираж 4000 экз. Заказ 9510

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-699-69562-1



9 785699 695621 >



Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**
E-mail: International@eksmo-sale.ru

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*
International@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел. +7 (495) 411-68-59, доб. 2261, 1257.**
E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», 603094, г. Нижний Новгород,
ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза». Тел. (831) 216-15-91 (92, 93, 94).

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А. Тел. (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел. +7 (383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9. Тел./факс: (044) 495-79-80/81.

В Донецке: ул. Артема, д. 160. Тел. +38 (032) 381-81-05.

В Харькове: ул. Гвардейцев Железнодорожников, д. 8. Тел. +38 (057) 724-11-56.

Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2. Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.

Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.

Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»

можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».

Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

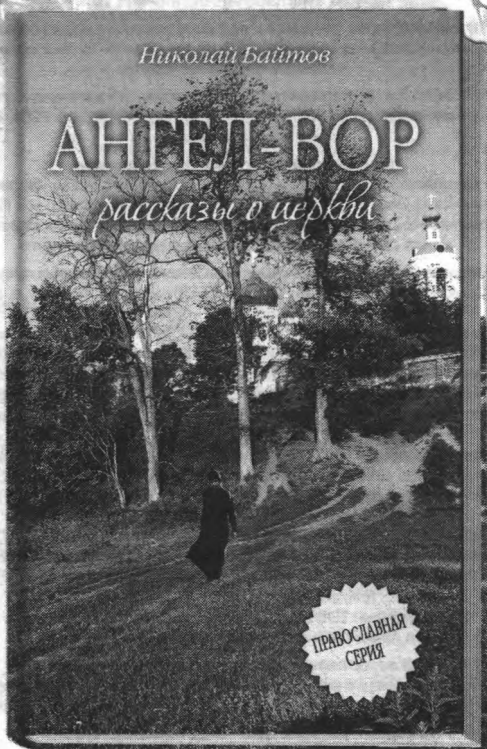
www.fiction.eksmo.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: Imarket@eksmo-sale.ru



Рассказы о поиске Бога



Серия качественной православной литературы в духе бестселлера Архимандрита Тихона Шевкунова.

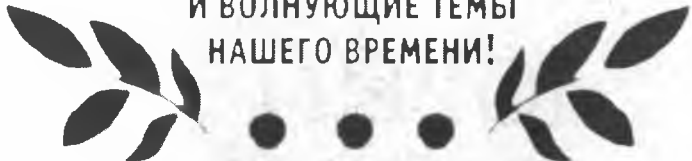
Высокоморальная проза о современности и поисках духовного просветления и благодати.

Книги серии проходят одобрение в Высшем рецензионном Совете при РПЦ, некоторые рекомендованы лично Патриархом: эта информация указана на титулах книг.

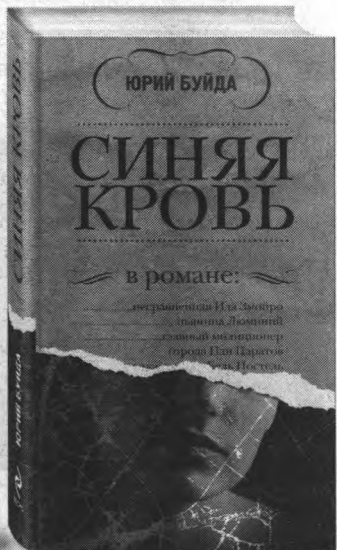
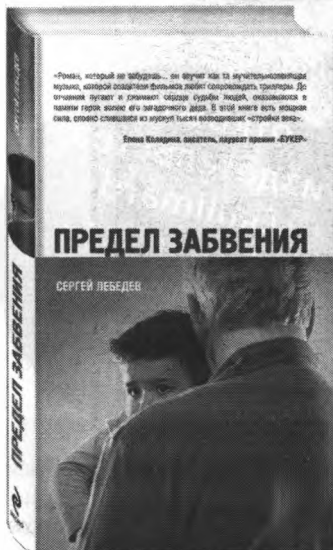
www.eksmo.ru

2013-073

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
 СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРОЗЫ
 НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ
 И ВОЛНУЮЩИЕ ТЕМЫ
 НАШЕГО ВРЕМЕНИ!



СЕРИЯ «ОТКРЫТИЕ. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
 ГОРЯЧЕЕ ДЫХАНИЕ НАШЕЙ ЭПОХИ



www.eksmo.ru

2012-002

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА

КНИГИ

Юрия БУЙДЫ



www.eksmo.ru

открытие
издательства
«Gallimard»
финалист
«Букера»
и «Ясной
Поляны!»



Книги
оформлены картинами
пражского художника Eugene Ivanov

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА

*Лабиринт непредсказуемых подтекстов для избранных,
открытых безграничному разнообразию опытов жизни.
Уникальное соединение концептуализма Виктора Пелевина
и саговой манерой Людмилы Улицкой!*

2013-026



Так случилось, что Юрия Буйду, как и Людмилу Улицкую в свое время, открыло старейшее и самое престижное издательство Франции «Галлимар», и уже потом автор получил признание в России. В 2012 году книга повестей «Жунгли» вошла в длинный список премии «Национальный бестселлер», роман «Синяя кровь» попал в финал «Букера» и «Ясной поляны», автор стал лауреатом итальяно-российской литературной премии «Пенне». В 2013 году роман-мистификация «Вор, шпион и убийца» стал лауреатом премии «Большая книга».

Юрий Буйда видит мир через волшебное стекло мифа, в котором даже самый обыкновенный человек становится великаном и горы сходят с мест от взмаха женской ресницы. Буйда – великолепный стилист, равных которому в современной прозе сложно найти. Его книги источают яд и мед страсти, в них бьется огромное сердце самой Жизни!

Тати – хозяйка Дома Двенадцати всадников на Жуковой Горе. Она не только принадлежит к древнему роду Осорьиных, но и является воплощением Бога и Дьявола в одном лице. Ее дом – ее крепость, ради своей семьи она готова пойти на все, даже на преступление... В лучших традициях Габриэля Гарсии Маркеса повесть «Яд и мед» сопровождается циклом рассказов «Осорьинские хроники», в которых история рода Осорьиных обрастает удивительными и невероятными подробностями!

ISBN 978-5-699-69562-1



9 785699 695621 >



ЭКСМО